

Амальрик Андрей Алексеевич Записки диссидента

Андрей Алексеевич Амальрик

Записки диссидента

П. Литвинов. ПОПЕРЕК ЛИНОВАННОЙ БУМАГИ

"Если тебе дадут линованную
бумагу, пиши поперек"

Хуан Рамон Хименес

(Р. Брэдбери. Эпиграф к роману

"451° по Фарингейту")

Десять лет прошло со дня гибели Андрея Амальрика, и все резче он стоит в памяти - невысокий, светловолосый, худощавый, почти мальчик, с холодноватым лицом. Рядом горячо любимая жена Гюзель - смуглая, красивая, выше его ростом, крупнее, почти загораживает, как бы защищает его хрупкую фигуру от враждебного мира. Нет ничего обманчивей этой картинке. Враждебный мир нанес Андрею много ударов, но он не спустил ни одного, он был прирожденным бойцом и в большинстве случаев атаковал первым, не дожидаясь ударов опасного Врага. Его оружием была пишущая машинка, он никогда не прибежал к запрещенным приемам для этого у него был слишком хороший публицистический вкус. И именно он защищал и направлял Гюзель, открытую, талантливую, наивную и не всегда хорошо ориентировавшуюся в практической жизни. Андрей Алексеевич Амальрик родился в 1938 году. Его отец был историк, автор (совместно с Монгайтом) известной в свое время книги "В поисках исчезнувших цивилизаций". Со второго курса исторического факультета МГУ Андрея исключают за курсовую работу о происхождении русской государственности, написанную без оглядки на официальные теории и во многом противоречащую им. С этого времени Андрей меняет много случайных работ, в основном для заработка, и ухаживает за отцом-инвалидом. Но главную свою энергию отдает литературе - писательству: пишет ряд пьес в стиле абсурда. Одновременно Андрей увлекается искусством, знакомится со многими талантливыми неформальными художниками. Тогда же впервые начинаются его контакты с иностранцами, которых привлекает яркое и самобытное независимое искусство. За эту деятельность его ссылают в Сибирь, где он работает два года в колхозе и куда приезжает Гюзель, ставшая его нежной и преданной подругой на всю жизнь. После возвращения в Москву он активно участвует в правозащитном движении, пишет книгу воспоминаний о ссылке - "Нежеланное путешествие в Сибирь", ряд острых публицистических статей и писем, которые издаются на Западе. Его историко-публицистическая книга "Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?" стала бестселлером и принесла автору мировую славу. В Америке даже вышла джазовая пластинка под таким названием. Эти "преступления" не могли оставаться безнаказанными: новый арест в 1970 году, тюрьма, лагерь на Колыме, по дороге куда он перенес тяжелую болезнь, чудом выжил, и через три года перед выходом на волю - новый срок по сфабрикованному КГБ лагерному делу. Многодневной голодовкой Андрей сумел привлечь внимание всего мира к этому становившемуся тогда уже почти нормой позорному способу борьбы с несдающимися инакомыслящими. Лагерь заменяют ссылкой в Магадан, где опять вместе с ним его Гюзель. В 1975 году они возвращаются в Москву, и после новой волны преследований - вынужденная эмиграция на Запад в 1976 году. Там Амальрик успешно продолжает литературно-публицистическую и общественно-политическую деятельность, вплоть до трагической гибели в автокатастрофе в ноябре 1980 года по пути на конференцию по правам человека в Мадриде. На Западе им написана (вышла после его смерти) вторая книга воспоминаний - "Записки диссидента", изданы сборники ранних пьес, "СССР и Запад в одной лодке" (подборка статей из различной западной прессы и выступлений) и ряд других книг. Находясь в эмиграции, Андрей Амальрик не перестает заниматься историей своей родины. Почти законченная к моменту гибели книга о Григории Распутине вышла во Франции в 1982 году. Писать о его публицистике трудно, настолько четко и экономно и в то

же время ярко и выпукло выражал он свои мысли. Его можно только цитировать. Попробую почти наугад. "То, что произошло со мной и что я здесь описываю, не является сколько-нибудь удивительным или исключительным в моей стране. Но как раз этим моя история интересна... Я хотел, чтобы читатель, волей-неволей видя все моими глазами, все же мог бы дать оценку увиденному. Мне самому все происходящее казалось порой до чудовищности нелепым, в другие минуты - совершенно естественным. Я буду доволен, если моя книга, пусть в самой незначительной степени, будет содействовать пересмотру взгляда, что насильем можно достичь каких-то положительных результатов" (из предисловия к книге "Нежеланное путешествие в Сибирь"). "Судебные преследования людей за высказывания или взгляды напоминают мне средневековые с его "процессами ведьм" и индексами запрещенных книг. Но если средневековую борьбу с еретическими идеями можно было отчасти объяснить религиозным фанатизмом, то все происходящее сейчас - только трусостью режима, который усматривает опасность в распространении всякой мысли, всякой идеи, чуждой бюрократическим верхам. Эти люди понимают, что поначалу развалу любого режима всегда предшествует его идеологическая капитуляция. Но, разглагольствуя об идеологической борьбе, они в действительности могут противопоставить идеям только угрозу уголовного преследования. Сознывая свою идейную беспомощность, в страхе цепляются за уголовный кодекс, тюрьмы, лагеря, психиатрические больницы. Именно страх перед теми фактами, которые я привожу в своих книгах, заставляет этих людей сажать меня на скамью подсудимых как уголовного преступника. Этот страх доходит до того, что меня даже побоялись судить в Москве и привезли сюда, рассчитывая, что здесь суд надо мной привлечет меньше внимания. Но все эти проявления страха как раз лучше всего доказывают силу и правоту моих взглядов. Мои книги не станут хуже от тех бранных эпитетов, какими их здесь наградили. Высказанные мною взгляды не станут менее верными, если я буду заключен за них на несколько лет в тюрьму. Напротив, это может придать моим убеждениям только большую силу. Уловка, что судят не за убеждения, а за их распространение, представляется мне пустой софистикой, поскольку убеждения, которые ни в чем себя не проявляют, не есть настоящие убеждения. Как я уже сказал, я не буду входить здесь в обсуждение своих взглядов, поскольку суд не место для этого. Я хочу только ответить на утверждение, что некоторые мои высказывания якобы направлены против моего народа и моей страны. Мне кажется, что сейчас главная задача моей страны - это сбросить с себя груз тяжелого прошлого, для чего ей необходима прежде всего критика, а не славословие. Я думаю, что я лучший патриот, чем те, кто, громко разглагольствуя о любви к родине, под любовью к родине подразумевают любовь к своим привилегиям. Ни проводимая режимом "охота за ведьмами", ни ее частный пример - этот суд - не вызывают у меня ни малейшего уважения, ни даже страха. Я понимаю, впрочем, что подобные суды рассчитаны на то, чтобы запугать многих, и многие будут запуганы, - и все же я думаю, что начавшийся процесс идейного раскрепощения необратим. Никаких просьб к суду у меня нет".

(Последнее слово Андрея Амальрика

12.11.1970 на суде, проходившем в

Свердловске, где он был приговорен к 3

годам лагерей строгого режима)

Воспоминания Андрея Амальрика изобилуют точными деталями, неожиданными поворотами, юмором. Большие и маленькие начальники, которым Андрей не спускает ни угрозы, ни лжи, ни глупости, гэбэшники и милиционеры, уголовники и лагерные надзиратели встают живыми со страниц его книг. Видно, что они тоже люди, оглупленные и обозленные собственной властью и начальством, бесчеловечным и абсурдным режимом. Вот, например, Амальрик получает после первой ссылки забранные у него при обыске материалы, которые МВД должно вернуть как не имеющие отношения к делу. "Из-за рисунков Зверева вышел спор. - Это порнографические рисунки, - сказал Новиков (следователь МВД. - П. Л.), - я оставляю их здесь и сожгу. - Но экспертиза графической секции МОСХа показала, - возразил я, испугавшись, - что это не порнографический, а

эротический бред. - А зачем советским зрителям показывать эротический бред? - в свою очередь парировал Новиков. - Ну, - примирительно сказал я, - в таком случае я не буду показывать их советским зрителям. Удовлетворенный таким ответом, Новиков вернул мне рисунки..." Андрей нигде и никогда не влезал ни в какие рамки, ни к кому не приспособливался - ни к своим друзьям правозащитникам, ни к западным журналистам, со многими из которых его связывала личная дружба, ни к западным политикам. Здесь я нахожу уместным поделиться одним грустным наблюдением. Тот узкий слой советской либеральной интеллигенции, который даже в самые худшие времена пытался сохранить человеческие ценности, та среда, из которой вопреки режиму вышли многие лучшие люди науки и культуры, среда, из которой выросло и без которой не могло существовать правозащитное движение, - несет в себе и элементы режима, которому противостоит: ей присущи элитарность и стремление сотворить себе кумиров, подозрительность, переходящая в маниакальную боязнь стукачества. Скороспелый суд многих осудил несправедливо, и Андрей пострадал от него сполна. Его острый язык и независимое поведение, - он был, в частности, одним из первых в Москве, кто открыто начал встречаться с иностранными корреспондентами, - навлекли на него подозрения в том, что он агент КГБ, провокатор, подсадная утка. Этот слух подхватили и некоторые из западных корреспондентов, привыкших, что с ними общаются и имеют дело или с разрешения КГБ, или даже по их приказу. Андрей переживал эти слухи и подозрения сильнее, чем преследования со стороны властей. Интеллигенция как бы говорила: "Смотрите, он такоепишет, регулярно дает интервью иностранцам, а его еще не посадили". Наконец, посадили - гнусные перешептывания кончились, и шептуны понурили головы. Две самые горькие статьи Андрея Амальрика появились в результате этого печального опыта: "Иностранные корреспонденты в Москве" и "Почему я не агент КГБ". Статьи обидные, блестящие, удары попали в цель и во многом способствовали как улучшению климата в среде либеральной советской интеллигенции, так и улучшению работы иностранных корреспондентов в Советском Союзе. Не менее независимую позицию занимал Андрей и на Западе - и тут он часто приходился не ко двору примитивному антикоммунизму определенной части эмиграции. Он был подлинный диссидент среди диссидентов, и единственная идеология, которую он признавал, была идеология защиты прав человека, кто бы их ни нарушал - советские или китайские коммунистические лидеры или чилийские и южноафриканские антикоммунисты. Я горжусь тем, что мне выпала удача представить моего друга Андрея Амальрика, с которым так много вместе пережито, широкому читателю на его родине. В заключение мне хочется процитировать одну из последних статей Амальрика - в ней он выступает против фальшивой разрядки напряженности, которую проводили некоторые прагматические политики на Западе. "Мне с возрастом становится все ясней, что лучшее в нашем мире находит свое выражение через простые человеческие отношения - любовь мужа к жене, родителей к детям, мужскую дружбу, сострадание, терпимость, простую порядочность, - в то время как любая идеология и доктрина, если она не используется с осторожностью как рабочая гипотеза, может свестись к рубке голов или, в лучшем случае, к набиванию кошельков... ..Поскольку у Движения за права человека нет дивизий, политикангангстеры и политикан-лавочники склонны третировать его. Но мне кажется, что именно всемирное движение за права человека станет преобразующей мир силой, которая преодолет как бесчеловечность, основанную на насилии, так и бесчеловечность, основанную на безразличии..." (из книги "СССР и Запад в одной лодке").

Павел Литвинов

Москва, август 1990 года

Долго относясь к слову "революция" скорее негативно, я стал участником одной из, может быть, наиболее значительных. Никто не знает, завершится она успехом или мучительная попытка создания новой идеологии кончится тупиком. Кризис христианства породил просвещение, кризис просвещения - марксизм, но можем ли мы с уверенностью сказать, что его кризис разрешится превращением "личности" из элемента "системы" в

личность? Философия тоталитаризма продолжает распространяться в мире, но там, где она впервые победила, началось ее преодоление - не "справа", а "слева", в движении на ощупь, но вперед. Тема записок - конфликт между личностью и системой в стране, где личность - ничто, а система - всё. Это не история идеи или движения, но только моя личная история. Я хотел рассказать ее безыскусно и честно, пишу здесь не только о том, что люблю вспоминать. Логика событий иногда вступала в противоречие с логикой рассказа о них, и было трудно отделять "главное" от "второстепенного" - увы, жизнь состоит большей частью из "второстепенного", при слишком строгом отборе пропадает аромат реальности.

14 июня 1978 Жанто, Швейцария

Amalrik

ЗАПИСКИ ДИССИДЕНТА

- Спросите у них, знают ли они, как по закону Христа надо поступить с человеком, который обижает нас? Нехлюдов перевел слова и вопрос англичанина. - Начальству пожалиться, оно разберет? - вопросительно сказал один, косясь на величественного смотрителя. - Вздуть его, вот он и не будет обижать, - сказал другой. Послышалось несколько одобрительных смешков... - Скажите им, что по закону Христа надо сделать прямо обратное: если тебя ударили по одной щеке, подставь другую, - сказал англичанин, жестом как будто подставляя свою щеку... Общий неудержимый хохот охватил всю камеру; даже избитый захохотал сквозь свою кровь и сопли.

Лев Толстой, "Воскресение"

Часть I. МОСКВА, 1966-1970

Глава 1. ХУДОЖНИКИ И КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ

- К жене писателя заходил английский журналист и оставил свой адрес. Ты ведь умеешь общаться с иностранцами, не мог бы ты связать его со мной? сказал мне Александр Гинзбург в декабре 1966 года. Всего четыре месяца назад я вернулся из ссылки, о суде над писателями Даниелем и Синявским знал главным образом по советским газетам, о демонстрации и письмах в их защиту слышал, я слышал также, что Гинзбург заканчивает "Белую книгу" - сборник материалов о суде - и хочет устроить пресс-конференцию. Как-то он сказал мне, когда я сидел у него на продавленном диване, что в диване прямо под моим задом эта рукопись лежит, но я никогда не просил ее почитать, отчасти потому, чтобы на возможный вопрос следователя ответить, что я ничего о ней не знаю. Я считал, что власти не будут церемониться ни с Гинзбургом, ни со мной, Гинзбург, вероятно, думал так же - и потому не рисковал сам идти к иностранному корреспонденту, а может быть, думал, что тот будет напуган его приходом. Мы все тогда немножко боялись, что те, кто боится власти, примут нас за провокаторов, боялись провокаторов. Я, однако, согласился на поручение - и тем самым взял на себя неожиданно роль, которую играл до осени 1969 года и которая отчасти вовлекла меня в то, что впоследствии стало называться Демократическим движением. Правда, я согласился не только из желания помочь Гинзбургу, но и потому, что сам писал воспоминания о сибирской ссылке, которые хотел передать на Запад. Я и сейчас хорошо помню заснеженную Тверскую-Ямскую, редкие фонари, пустую милицейскую будку перед домом - в доме жило слишком мало иностранцев, чтоб круглосуточно дежурил постовой, и немного растерявшуюся жену корреспондента, с волосами, опущенными на щеки. С трудом я объяснил ей, что я хочу; несмотря на "умение общаться с иностранцами", я говорил только по-русски. Через несколько дней Гинзбург встретился у нас с журналистом, занавесок у нас еще не было, и мы заставили окна картинами - наивная конспирация на тот случай, если бы попытались сфотографировать нас. Договорились о новой встрече на 17 января - но у Гинзбурга с утра до вечера был обыск, в тот же день был арестован Юрий Галансков, составитель сборника "Феникс". Я увидел Гинзбурга на выставке неофициальных художников в клубе "Дружба". В течение часа, пока выставку не закрыли, едва можно было протиснуться сквозь толпу и тут мелькнуло его лицо, оживленное, но уже с отпечатком обреченности, ясно было всем, а лучше всех ему самому, что его вот-вот арестуют. Здесь же я услышал о демонстрации на Пушкинской площади в защиту Галанскова и еще троих

арестованных. Мне уже рассказывали о демонстрации в декабре 1965 года с требованием гласности суда над Даниэлем и Синявским, но я полтора года не был в Москве, и возможность даже маленькой демонстрации казалась мне невероятной. Впоследствии на допросах некоторые в качестве алиби ссылались на то, что были в этот вечер на выставке - выставка все-таки считалась меньшим злом. Уже после ее закрытия чины КГБ ходили по залам, с интересом рассматривали картины и говорили художникам: "Мы не против, указание закрыть дал райком". В коридоре человек с серым лицом другому, помоложе, показывал на группу художников: "Ты пойдешь, повертись около, повертись". И первый обыск у Гинзбурга, и его арест 23 января совпали по времени с организуемыми мной встречами, у меня возникло тяжелое чувство, нет ли осведомителя среди его друзей и не будут ли подозревать меня. Думаю теперь, что это было случайным совпадением: слишком уж спрессовано было время, отпущенное Гинзбургу оставаться на свободе. Встречи осенью 1966 года с Гинзбургом и Галансковым показали мне, что существует зародыш оппозиции режиму. Галансков говорил даже о создании партии. Я готов был помочь и тому, и другому, но не хотел бы примкнуть слишком близко. Я был в оппозиции к этому режиму всегда, даже не стал пионером - но это было скорее личное неприятие того, что я считал не в силах изменить; я искал нишу, в которой мог бы жить, занимаясь своим делом, своего рода форму сосуществования с режимом. План этот, к которому я неоднократно сознательно и бессознательно возвращался, был неосуществим. Любая частная жизнь в Советском Союзе - это "ниша", однако за право сидеть в ней режим взыскивает высокую плату, кроме того режиму мало, чтобы кто-то был "не против", надо, чтобы все были "за" и время от времени показывали это. Вторым препятствием для меня было желание не столько приспособливаться к окружающему миру, сколько мир менять. Я долго не осознавал этого, но в этом был источник многих конфликтов. К тому же я хотел отвечать на удар ударом попав в ссылку, я чуть ли не с первых дней думал, как напишу книгу об этом и так хоть в какой-то степени отплачу тем, кто обошелся со мной столь безобразным образом. Я винил, впрочем, систему, а не отдельных лиц, и не знаю, как при этом еще надеялся ужиться с ней. После ареста Галанскова и Гинзбурга никаких почти связей с теми, кто поддерживал их и участвовал в январской демонстрации, у меня не было. Я думал прежде всего о том, чтоб закончить "Нежеланное путешествие в Сибирь" и найти издателя, а также чтобы дать Гюзель, моей жене, возможность заниматься живописью. Хватало забот и просто о том, что есть каждый день, событием для нас было сделать яичницу с ветчиной и купить бутылку пива. Ощущение легкого голода и безденежья знакомо многим молодым писателям и художникам, но у нас оно почти не соединялось с надеждой - наш образ жизни был вызовом системе, которая не считала только голод достаточным наказанием. Мы жили тогда в большой коммунальной квартире на улице Вахтангова, почти в центре Арбата. Из прихожей, где горела тусклая лампочка, - соседи ее все время выключали из экономии, - вел буквой Г длинный и узкий коридор, мимо кухни, где в чаду сушилось белье и стояли у своих столов старухи со скучными лицами, мимо ванной, где, уткнувшись головой в корыто и выставив в коридор огромный зад, обтянутый синими байковыми штанами, соседка стирала белье, мимо занавески с выпиравшими из-под нее чемоданами, мимо больших и маленьких дверей, мимо шкафчиков вдоль стены - и упирался в дверь нашей комнаты. А если раскрыть дверь - вы натыкались на рояль. Рояль занимал половину комнаты, ни Гюзель, ни я не умели играть на нем, он достался мне в наследство от тети, певицы, и был для меня как слон для бедного индуса, к тому же он был совершенно расстроен, только иногда на нем играли двое сумасшедших: сестра Гюзель и художник Зверев, и правда, они извлекали из него дивные звуки, Зверев иногда даже головой. Кроме рояля, стояли тахта, платяной шкаф, письменный стол и остаток буфета, купленного бабушкой и дедушкой к их свадьбе в 1905 году, году первой русской революции. Впоследствии, когда дела наши стали несколько поправляться, на месте буфета посвилась большая книжная полка. Когда я сидел в тюрьме, приятельница Гюзель Сюзанна Джэкоби, желая показать, как наша жизнь была неустойчива, в статье в "Нью-Йорк Таймс Мэгэзин" назвала полку "шаткой". Статья мне понравилась, но, как только

я дошел до полки, готов был писать опровержение: я гордился ею, она была сделана по моим чертежам, и я считал, что скорее советская власть пошатнется и рухнет, а моя полка будет стоять. Полку и рояль перед отъездом за границу мы подарили нашему другу Юрию Орлову, и они теперь неколебимо стоят у него, но он сам - увы - когда я пишу эти строки, сидит в Лефортовской тюрьме. Сначала у нас было только два стула. К спинке одного я прибил планку с надетой на нее консервной банкой: получился мольберт, на котором Гюзель написала несколько красивых портретов. К сожалению, она могла работать только в солнечную погоду: комната выходила в полутемный колодец арбатского двора с мужским туалетом внизу. Над нами смеялись немного - особенно иностранцы, что мы, не имея даже обеденного стола, полкомнаты заняли бесполезным роялем, но сама его бесполезность и красота, вместе с картинами, старыми книгами, дедушкиными часами и какими-то паутинообразными засохшими растениями на шкафу, придавали нашей комнате сказочный вид, я особенно остро чувствовал это, когда через много лет вернулся из ссылки. Наша квартира была как бы микрокосмом советского мира. У двери жила пожилая еврейская пара: муж, майор, работал в неясном учреждении, но в осторожной форме высказывал восхищение Израилем, жена была озабочена главным образом тем, чтобы приготовить обед мужу. Гюзель у нее научилась готовить превосходную еврейскую рыбу. Старый коммунист, приземистый, как гриб-боровичок, со скрипучим голосом, редко выходил из комнаты, но в кухне царила его жена, высокая крепкая старуха, Гюзель сразу вспомнила ее, когда прочла "Сто лет одиночества" Габриеля Маркеса. Она подчеркивала свою преданность советской власти и очень гордилась, что ее сын - прокурор, впрочем снятый за взятки. Она часами обсуждала по телефону последнюю прочитанную книгу или просмотренный фильм, в этом было бы даже что-то юношески трогательное, если бы телефон не был один на всех жильцов. Проходя мимо их комнаты, можно было слышать Би-Би-Си, "Немецкую волну" или "Голос Америки": старик считал, что врага нужно знать. Но кончилось это плохо: наслышавшись, что такого-то диссидента арестовали, такого-то сунули в психушку, такого-то выслали из Москвы, он вдруг вообразил, когда жена летом перевозила его на дачу, что его выселяют из Москвы, плакал и повторял: "Меня, меня, который всю свою жизнь честно служил советской власти". Вскоре он умер. Напротив жили мать, деревенская старуха с проваленным ртом, и ее сорокалетняя дочь, заведующая булочной. За ними - багроволицый мужчина, который женился на женщине из южного курортного городка, он рассчитывал, что летом будет жить у нее, а она - что он пропишет ее в Москве, но поскольку они друг другу не доверяли и прописывать друг друга не хотели, брак распался на наших глазах. Дальше была комната кислой дамы лет семидесяти, вдовы полковника, и квартира становилась как бы гигантским полем битвы честолюбий - кто важнее: вдова полковника или жена майора (хотя и майора, но все же живого), заведующая булочной или мать прокурора (хотя и бывшего, но все же прокурора)? Впоследствии на месте кислой дамы поселилась рабочим пара: толстая Таня со щуплым Ваней - попадая из-за алкоголизма в психбольницу, он на всю палату кричал: "Я ебу советскую власть!" "Да что ты, что ты, шептала ему испуганная Таня, - лучше уж ты меня выеби". Но этого он как раз не делал, так что они скоро разошлись - и Ваня пропал бесследно. И наконец, рядом с нами жили две женщины, лишённые какого-либо комплекса социальной неполноценности: испитая и костлявая Оля, лет сорока пяти, работавшая уборщицей в кино, и ее тетка, которую она называла "бабка". Несовершеннолетний сын Оли сидел в тюрьме за групповое изнасилование, тоже несовершеннолетней. Когда Оля напивалась, - это происходило ежедневно, - она на полную мощь запускала магнитофон и, стуча кулаком по столу, кричала: "Бабка, я пью, я гуляю!" "Бу-бу-бу-бу!" - отвечала бабка. Музыка слегка приглушалась, и солидный мужской голос, подражая интонациям радиодиктора, говорил: "Эта музыка записана для Ольги Воронцовой старшим киномехаником кинотеатра "Кадр"! "Слышишь, бабка, это для меня музыка!" - кричала Оля, а в ответ слышалось: "Бу-бу-бу-бу!" Гюзель работала очень энергично, стуча сапожной щеткой по холсту, так что тряся стул, и вырабатывая своеобразный стиль - отчасти она следовала своему учителю Василию Ситникову, отчасти Владимиру Вейсбергу, но по

рисунку и по чувственному восприятию природы ближе всего была к Модильяни и Ван Донгену, картины которых в то время знали только по репродукциям. Это было так далеко от соцреализма, что у нее не было шансов, да и желания войти в Союз художников и получать официальные заказы. Первой картиной, которую продала Гюзель, был портрет жены корреспондента, у которого я был по просьбе Гинзбурга. Они, кажется, долго сомневались, купить ли этот портрет, для нас же это был чуть ли не вопрос жизни и смерти, и, получив 66 долларов, мы почувствовали себя невероятными богачами, первым делом купили красивый вязаный костюм для Гюзель, до этого она ходила в старых одеждах своих подруг. Гюзель стали время от времени заказывать портреты, главным образом, иностранцы. У меня была небольшая коллекция работ молодых художников, которую я собрал до первой ссылки, а часть картин они мне дали для продажи и несколько я продал. Власти отвергали неканоническое искусство, богатых коллекционеров почти не было - и иностранная колония в Москве была, по существу, единственным рынком. Низкие цены в Москве делали живопись доступной даже для тех, кто не мог бы купить картины хороших художников у себя на родине, многие хотели приобрести в чужой стране что-то для нее характерное и сравнительно редкое, к тому же неофициальное искусство несущее в себе элемент протеста и тем не менее разрешаемое властью отвечало чаяниям иностранцев о "либерализации" советской системы. Я не говорю об общем для всех времен и народов желании украсить свой дом. Помню, как была поражена американка, зайдя к нам в комнату и увидев развешанные по стенам картины: они создавали своего рода магнитное поле. Пока человек живет в атмосфере красоты, это все же смягчает присущие ему зависть и злобу, я согласен, что "красот спасет мир", но мы скорее идем от красоты, чем к красоте. В старину даже крестьянская утварь, какой-нибудь светец, была произведением искусства, а сейчас немало картин имеют вид фабричного изделия. Интересно, что расцвет тоталитаризма в политической и социально-экономической жизни совпал с расцветом функционализма в архитектуре и дизайне. Некоторые московские иностранцы - скорее полуиностранцы - почувствовали, или им подсказали, что собирание картин неофициальных художников и посредничество между новым советским искусством и старым западным рынком может оказаться выгодным делом. Вспоминаю русско-американскую пару - назову их условно Эдвард и Нона, - чье положение в Москве было характерно для того странного пограничного мирка, который возник на стыке советского и западного образов жизни. Они поженились перед войной, потом Нона ездила с мужем в США и даже изучала историю в каком-то американском университете, но во всяком случае не совсем точно знала, наследовал ли Людовик XIV Людовику XV или наоборот, с середины пятидесятых годов они поселились в Москве постоянно, и Эдвард становился поочередно корреспондентом разных западных изданий. Когда я познакомился с ними в 1964 году, они жили в большом собственном доме, во всех почти комнатах висели картины - преимущественно молодых, но была также великолепная картина Пиросманишвили. Вскоре этот дом был снесен и они взамен получили дворянский особняк в районе Арбата, красивый, но так построенный, что для картин места не нашлось - да я почти и не нашел у них картин, когда вернулся в Москву в 1966 году, большую часть Нона вывезла в США, там продала и бросила этим заниматься, думаю, что картины не имели большого успеха в США. Ее желание посредничать доходило до смешного. У себя в доме художников и возможных покупателей она распихивала по разным комнатам, Василия Ситникова как-то даже заперла в туалете. К ней пришел коллекционер Арманд Хаммер, и тут как раз сидели художник Плавинский со своим приятелем, настолько пьяные, что не под силу ей было утащить их в другую комнату, но уж, конечно, они и не помышляли о сделках, а лишь о том, как бы хватить еще стаканчик. Да и Хаммер не поверил, что можно вправду так напиться, и решил, что Нона пригласила двух актеров разыгрывать по системе Станиславского пьяных русских художников. Станиславский в глазах Хаммера, я думаю, не подкачал: приятеля Плавинского я вынужден был однажды за ноги проволочь по описанному мной коридору, мимо потрясенных соседей, и спустить с лестницы, - а он, теряя галоши и скользя по ступенькам вниз головой, кричал нам: "Попробуйте только спуститесь

вниз!" На что Плавинский гордо отвечал ему ленинскими словами: "Мы пойдем другим путем!" - и предлагал мне выйти на улицу черным ходом, чтобы не подвергать себя опасности его мести. Нона не любила и не понимала живопись. У нее было несколько советчиков, которые советовали ей купить то или это, а потом, показывая купленное, она следила за реакцией других: то, что один хвалил, другой мог обругать, и ей волей-неволей приходилось жить последним мнением. Как-то она попросила у меня несколько картин "показать важным американцам" и одновременно купила "Морское дно" Плавинского, которое загромождало нашу комнату наподобие рояля. Но именно "Дно" ее гости не похвалили - и она сказала, что, пока я не верну за него деньги, она не вернет мои картины. Деньги я уже отдал Плавинскому, а они, надо отдать ему должное, у него не залеживались, да и такой метод ведения дел я принять не мог, пришлось мне угрожать судом, пока не отдали картины. Но даже через год Нона подбежала ко мне на приеме у американского посла: "Вы должны мне пятьсот рублей!" - Ну, Нона, кто старое помянет, тому глаз вон, - добродушно ответил я. - Нет, не вон! Нет, не вон! - и она отскочила с таким видом, словно я действительно собирался вырвать ей глаз. Больше я ее не видел. Несмотря на богатство, заметное особенно на фоне скудной советской жизни, в ней самой и в атмосфере их дома чувствовалось что-то несчастное. Помню, как она хотела показать мне японский киноаппарат и вынимала из ящичков множество аппаратов, то без объективов, то без ручек, то еще без каких-то деталей, вереница аппаратов-калек, в комнате уже наступали сумерки, и я, взглянув сбоку на ее лицо и шею с подтянутыми морщинами, вдруг подумал: как эта женщина несчастна. Как-то Зверев, Плавинский и я заехали к Эдварду. Две девицы и молодой человек, альбинос с лицом, которое невозможно запомнить, сидели в одном углу гостиной, а мы в другом, по замыслу Плавинского ближе к бару, обе группы с таким видом: у вас своя компания, а у нас своя. - А где же Нона? - любезно спросил Плавинский. - Нона в данный момент лежит на операционном столе, - так же любезно ответил Эдвард. - Она сломала ногу и поехала в Америку для операции. Мы сидели с печальными лицами. И вдруг дверь отворилась и появилась Нона вся в черном, с белой гипсовой ногой и с черным зонтиком в руках. - Сколько я тебе говорила не появляться здесь! - и она с размаху саданула альбиноса зонтиком по задку. Тот бросился в дверь, девицы с визгом за ним, мы застыли на местах. - Нона, Нона, - говорил Эдвард, вставая на защиту альбиноса и вяло разводя руками. - Это же ба-ардак! Ба-ардак! - кричала Нона, с грохотом швыряя на пол рюмки и вазочки, видно было, что она рада зрителям. В метро Дима Поплавский, выпивший во время этой сцены бутылку рома от волнения, стоял, покачиваясь, немного в стороне от нас, и с ним заговорил человек со сладкой улыбкой. - Это агент, он видел, как мы выходили из американского дома, - шептал мне Зверев, - бежим отсюда. - А как же Дима? - Сейчас мы ему уже ничем не поможем, а завтра отнесем передачу. - Дима! - крикнул я, когда подошел поезд, и сладкий человек отпрянул - это был педераст, ищущий друга среди пьяных. Нона с возмущением рассказывала, что как-то, наоборот, она застала в спальне совершенно голую девушку. И хотя Эдвард объяснил, что это молодая талантливая скрипачка, которой негде заниматься, - действительно, тут же лежала и скрипка, - и потому он разрешил ей играть здесь, и она так самозабвенно и страстно играла, что вся вспотела и потому вынуждена была сбросить с себя одежды, Нона стала хватать трусы, лифчик, чулки и выкидывать их в окно, так что они повисли на деревьях в саду вроде диковинных плодов, и бедной девушке пришлось лазить нагишом по деревьям и собирать их - Эдвард, при всем своем благородстве, был слишком тучен для этого. К Нониной чести следует сказать, что она пожалела девушку и не выбросила скрипку. Советские власти ригористичны - они не любят, чтоб на вишневых деревьях висели женские трусы, чтоб к американцам ходили русские гости, чтоб иностранцы покупали и продавали картины, более же всего они не любят, чтоб иностранные корреспонденты оставались в России слишком долго: чем дольше корреспондент живет здесь, тем лучше он понимает ситуацию. Однако описанный мной корреспондент провел в Москве более трех десятилетий, примерно столько же провел и бывший глава московского бюро ЮПИ Генри Шапиро, тоже женатый на русской, а французский корреспондент Эннис

Люкон, если не женатый, то во всяком случае живший с русской, продолжал быть аккредитован в Москве и после того, как представляемая им "Пари Жур" прекратила существование. Со студенческих лет я стремился иметь знакомых и друзей среди иностранцев. Не надо думать, что за этим стояли практические соображения - получить нужную книгу, продать картину, передать свою или чужую рукопись, хотя об этом я еще буду писать; главным для меня, как и для многих других, думаю, что даже для молодых людей, торгующих джинсами, главным было найти какой-то - чуть ли не метафизический - выход из того мира, который нас окружал; нам хотели внушить, что советский мир - это замкнутая сфера, это вселенная, мы же, проделывая в этой сфере хоть маленькие дырки, могли дышать иным воздухом - иногда даже дурным, но все же не разреженным воздухом тоталитаризма. Мне хотелось бывать в гостях у иностранцев и приглашать их к себе, держать себя с ними так, как будто мы такие же люди, как и они, и они такие же люди, как мы. Хотя многим американцам и европейцам это покажется общим местом как же еще общаться людям, - я предлагал, по существу, целую революцию. Слову "иностранец" придавался и придается в России мистический смысл - и дело не только в сооружаемых властью барьерах, но и в вековой привычке изоляции и комплексе неполноценности, которым советский режим придал форму идеологической исключительности. Иностранцы тоже начинали смотреть на себя как на существа особого рода - большинство сразу же принимало "правила игры", навязываемые властями. Многие годами могли жить в России или совершать большие путешествия, не встречая ни одного русского, кроме сопровождавших их чиновников, а потом писались книги о России, где в качестве самых больших недостатков приводилось долгое ожидание официанта в ресторане или куча мусора под окном. Начав "революцию в отношениях", я натолкнулся не только на сибирскую ссылку, но и на пущенный самими иностранцами слух, что я агент КГБ. Мне приятно было слышать, когда в 1976 году в Нью-Йорке при вручении мне премии Лиги прав человека Павел Литвинов заговорил не о моих книгах, а о том, что я был первым, кто начал это неофициальное общение. Это же имел в виду и Гинзбург, сказав, что я умею "общаться с иностранцами". Хотя меня все более начали занимать другие интересы, отношения с художниками были дороги мне. Анатолий Зверев заходил к нам, пока мы не поссорились из-за того, кому делать первый ход в карты, я его с тех пор не видел и едва ли увижу. Я думаю теперь, что он оказал на меня большое влияние, даже как на писателя, хотя сам книг, по-моему, не читал. Когда он иллюстрировал мои пьесы, он попросил меня читать их вслух, так как едва разбирал буквы; замечания, которые он сделал, были, впрочем, очень метки. Боюсь, что в истории русского искусства его работы займут скромное место, замечательные вещи просто потеряются среди хлама. На Западе даже лучшие его картины интереса не вызвали, они слишком напоминали лирический экспрессионизм двадцатых-тридцатых годов, словно развитие русского искусства возобновилось с того момента, на котором было искусственно прервано. Между тем я не побоюсь сказать, что в Звереве были зачатки гениальности, это был гений в потенции - но в потенции неосуществившейся. У него были такие неожиданные повороты, такие необычные ходы - и в его картинах, и даже в маразматических рассказах и стихах, - которые и выдают гения. Вы читаете, например, писателя, как будто едете по укатанной ровной дороге, но вдруг какой-то одной фразой делается такой вираж, и вас тряхнет на таком ухабе - и вы чувствуете: перед вами гений. Но у большинства хороших писателей вы так и доезжаете до конца книги по ровной дороге. У Зверева не было другого: школы, культуры, которая играет роль внутреннего цензора, отличая плохое от хорошего не на бумаге уже, а еще где-то на грани бессознательного и сознательного, а также не было среды, которая держит художника на поверхности, как соленая вода пловца. Конечно, создавалась эрзац-среда: несколько подпольных художников, два-три безденежных коллекционера, три-четыре непризнанных поэта и четыре-пять ничего не понимающих в живописи иностранцев, и поэтому не только картины Зверева, но и вообще картины русских неофициальных художников, выставленные вместе на Западе, - и хорошие, и плохие, и любительские, и профессиональные - производят какое-то, не побоюсь этого слова, жалкое впечатление, не в отрицательном смысле, а скорее

в том, как выглядит голый среди одетых. Работоспособность Зверева - сначала высокая - начала иссякать, чему немало способствовало естественное для русского художника пристрастие к водке, и постепенно все яснее обозначался кризис, когда данное художнику Богом истощается, не сменяясь приобретенными личными усилиями. В период моего увлечения Зверевым я никогда не мог смотреть без волнения, как он работает: я присутствовал при чуде. Когда он подходил к белому листу, не глядя на модель, мне казалось, что пустоту листа невозможно превратить в портрет вот сидящей с видом ожидания женщины, как из ничего нельзя создать нечто. Но, с искаженным лицом и обезьяньи двигая руками, - Зверев потом на меня очень обиделся за это сравнение - он развозил по бумаге жидкую краску, процарапывал линии, и я облегченно вздыхал: великолепный портрет! Некоторые его работы и сейчас у меня хранятся. Небритый, в надвинутой на глаза кепочке и в грязной одежде с чужого плеча, Зверев вызывал брезгливость у многих - и вместе с тем отличался чудовищной брезгливостью, он никогда, например, не ел хлеб с коркой, а выковыривал серединку, рассыпая вокруг себя хлебные ошметья, пил из бутылки, чтобы не запачкать воду о стакан, при этом из брезгливости не касался губами горлышка. Ему показалось, что Гюзель налила ему пива в недостаточно чистую кружку, и с тех пор он всегда приходил к нам с оттопыренным карманом, из которого торчала большая кружка, украденная им в какой-то пивной, для дезинфекции он протирал ее носовым платком, не могу сказать, чтобы очень чистым. Но, быть может, он заходил к нам с кружкой еще и для того, чтобы деликатно намекнуть, что обед всухомятку - не обед. Его представления о том, как и сколько можно выпить, сильно отличались от общепринятых, даже в России. Как-то за завтраком он выпил около литра водки - я только рюмку, затем мы распили бутылку шампанского, после чего Зверев сказал: "А сейчас хорошо бы пивка!" Он постоянно попадал в странные истории, из них одних - а в некоторых, к несчастью, я сам участвовал - можно составить книгу. Зверев снимал одно время комнату в подвале вместе со своей возлюбленной, слоноподобной детской поэтессой. Любимым его занятием была игра в рифмы: - Поколение, - говорила поэтесса - Коля на Лене, - тут же отвечал Зверев. - Кулинария. - Коля на Ире, - и так далее, пока чья-то фантазия не иссякала. Однажды подруга отвечала все такими неудачными рифмами, что Зверев с матерной бранью швырнул в нее зажженной спичкой - и вспыхнули ее пышные курчавые волосы! - Подонок! - закричала поэтесса, хватаясь руками за волосы. - Мое терпение истощилось, я иду доносить в КГБ, что ты продаешь картины иностранцам! - и с этим она выбежала из комнаты, закрыв снаружи дверь на щеколду. В ужасе Зверев принялся колотить в дверь, на стук вышел сосед, одноногий инвалид отечественной войны, и, желая помочь, стал трясушимися руками отодвигать тугую щеколду. Однако страх Зверева перед КГБ был так велик, что он, не дождавшись, рванул дверь - и оторвал палец своему избавителю. - Я так спешил, что даже не извинился, - говорил потом огорченный Зверев, который придавал вообще большое значение соблюдению формальных приличий. Оказалось, впрочем, что его возлюбленная побежала не в КГБ, а в парикмахерскую - приводить в порядок оставшиеся волосы, а сосед действительно написал жалобу в КГБ, что мало того, что ему оторвало ногу, когда он защищал на войне светлое будущее молодого поколения, это молодое поколение само вдобавок оторвало ему палец. У Зверева была привычка приставать на улицах к женщинам, и если кто-то, напуганный его нелепым видом и странными речами, обращался к прохожим, он обиженным тоном говорил: "Товарищи, эта женщина меня уже месяц преследует, а что я могу поделать - у меня импотенция". Некоторые ему даже сочувствовали. В другой раз, не желая платить за такси, - таксистов он ненавидел "за заносчивость" - он закричал: "Караул, насилуют!" Собралась толпа, подросла милиция, шофер, молодой парень, только тупо глазами хлопал - и что же, его задержали, а Зверева отпустили. Многие объяснялось его патологической трусостью, вечная боязнь заставляла его ссорить между собой любителей его живописи. Открыл его танцор и режиссер Александр Румнев, а потом коллекционер Георгий Костаки очень им увлекся. И вот сидит Зверев за обедом у Костаки и говорит: - Какие же нехорошие люди бывают, Георгий Денисович. - А что такое, Толечка? - заволновался Костаки. - Да вот,

Александр Александрович Румнев, почтенный человек, а такие вещи про вас говорит, что стыдно повторить - говорит на вас "черножопый армяшка". - Да как же так! - закипятился Костаки. - Ведь это ж у него самого армянские наклонности! - Вот, Александр Александрович, какие нехорошие люди бывают на свете, начинает Зверев на следующий день за обедом у Румнева... "Румнев что-то тебя не любит, - говорил он мне впоследствии, - прямо мне приказывает: не смей ходить! к этой старой бляди Амальрику". Представляю, что он наговорил Румневу обо мне. Когда мы познакомились, известность давала ему какую-то уверенность в себе но его детство и юность были ужасны - как он сам пишет, "единственными звездочками были рисование, шашки и стихи".

Глава 2. АГЕНТСТВО ПЕЧАТИ "НОВОСТИ"

Мне нужно было думать не только о заработке, вроде заработка от продажи картин, но - о работе, предоставленной государством. Уже заходили ко мне участковый инспектор милиции, очень толстый, и с ним гебист в штатском, с типичным кисло-сладким выражением лица, напоминавшие вместе кусок разваренного мяса с кислым соусом, и намекали, что я недавно вернулся из Сибири и могу снова туда поехать. Я рассчитывал на помощь приятелей отца в разных издательствах, но они мялись и тянули, людей старшего поколения не очень воодушевляло, что я побывал в ссылке. Но неожиданно жена моего дяди сказала, что ее племянник работает в Агентстве печати "Новости" и она спросит его, - так сказать, взаимопомощь племянников. В здании АПН на Пушкинской площади дежурило три привратника: один пропускал в вестибюль, другой сидел у телефона, а третий у внутренних дверей, лица их не оставляли сомнения, к какой организации они принадлежат. Встретивший меня Борис Алексеев был лет на пять меня старше, рослый и с лицом как бы мужественным, но весь словно без костей, все в нем студенисто колебалось. Кажется мне, что он этой встречей хотел отдать дань уважения своей тете без каких-либо практических последствий. Но тут к нам подошла, делая энергичные движения, блондинка с заостренными чертами лица - его любовница, как я узнал потом. Она мне и предложила первую работу - взять интервью у театральных художников. Был уже, говоря советским языком, "запланирован материал", но никто ничего не сделал - а вдруг этот молодой человек сделает. Она к тому же, в отличие от Бориса, была обязана своей карьере себе самой, а такие люди любят покровительствовать. Для нее моя ссылка окружала меня скорее романтическим ореолом, к тому же приговор мне был Верховным судом отменен. АПН было создано в последние годы власти Хрущева - под вывеской, в отличие от ТАСС, "общественного агентства" - главным образом для пропаганды на заграницу. Как всякое учреждение, связанное с заграницей, АПН работало в контакте с КГБ, а заграница была для его агентов "крышей". Впоследствии мою работу для АПН приводили как одно из доказательств, что я агент КГБ. Это, если говорить вежливо, слишком упрощенный взгляд. Не только АПН, но и ССП, любое издательство, институт - связаны с КГБ, с метафизической точки зрения все советские граждане на него работают. В АПН было достаточно штатных и внештатных сотрудников КГБ, но часть журналистов прямого отношения к нему не имела. Я же вообще не был сотрудником АПН - я был одним из тысяч авторов, которым агентство заказывало статьи или интервью. Не совсем ясно представляя, как нужно брать интервью и у кого, я начал с Олега Целкова, которого знал немного и который работал для театра. "Посиди здесь немного, - сказал он, - я сбегая за бутылкой и поговорим". Прошли полчаса, час, два - художник не появлялся, жил он на самой окраине, и уже поздно ночью я с трудом добрался домой - так с тех пор его и не видел, только на днях слышал, что он сейчас в Париже. Другой художнице я позвонил как раз в тот момент, когда ее увозили в родильный дом. Наконец, мне удалось договориться с Борисом Мессерером - отец его был балетмейстером, мать балериной, и сам он оформлял балеты. Совсем не помню, кто меня ввел в квартиру, но в мастерской меня встретила женщина, показавшаяся мне очень красивой, его бывшая жена, она достала куклу под стеклянным колпаком, повернула ключик - и кукла стала танцевать. "Это я!" - сказала она, указывая на куклу, и вышла. Его мать тоже, как писали в старых романах, несла отпечаток былой красоты. Есть особый тип красоты балерин, всегда узнаваемый, - не все, конечно, балерины

красивы. Художник, небольшого роста, лет под сорок, совершенно лысый, предложил мне садиться, и мы сели, многозначительно и молча глядя друг на друга. Он ждал моего вопроса, а я совершенно не знал, о чем спросить. - Как удивительно, вы еще молодой, но уже совсем лысый, - сказал я, наконец, и вспомнил, что во время знаменитого вечера с явлением черного зонтика и белой ноги пьяный Плавинский несколько раз начинал анекдот о лысых, но каждый раз, взглянув на лысину Эдварда, испуганно замолкал - чтобы через несколько минут начать снова. Вопрос спорный: есть теория, что облысение - признак сохранения мужской силы, одно как бы компенсируется другим; у меня, правда, волосы очень хорошие. Как бы то ни было, я взял интервью у нескольких художников - и у меня создалось впечатление, что театральные художников по призванию не бывает, это все неудавшиеся станковисты; чем лучше они понимали пространство сцены, тем хуже была их станковая живопись. Сдав статью, я впервые познакомился с редакторской правкой: места, казавшиеся мне лучшими, были выброшены, зато вписаны такие вопросы художникам: "Каковы ваши мечты и планы?" Но статья была принята и даже вывешена на "Доске лучших материалов" - "невероятная" для начинающего журналиста честь. Я писал для АПН главным образом о театре - это было мне самому интересно, отчасти за свои пьесы я и попал в сибирскую ссылку. Первым режиссером, у которого я взял интервью, был Валентин Плучек - главный режиссер Театра сатиры. Я сходил на один его спектакль, хороший, и спросил Гинзбурга, как раз за несколько дней до его ареста, что бы он мне посоветовал прочесть о Плучеке. Гинзбург ответил, что ничего о Плучеке читать не советует, а советует прочитать "Вестник АПН", для которого я буду писать, чтоб я знал, как там пишут, и писал так же. С Плучеком - совершенно случайно - мы начали с живописи, он с интересом расспрашивал о несостоявшейся выставке в клубе "Дружба". Но только мы перешли к театру, как будто что-то щелкнуло в нем, он заговорил обкатанными фразами, даже голос изменился. Как только он кончил записывать, он опять, обрел человеческий голос. Постепенно я перестал заранее ходить на спектакли, скорее норовил потом попросить у режиссера бесплатный билет, ничего не читал и никак не готовился - и, конечно, один раз был наказан за свою наглость. Срочно нужно было интервью Андрея Завадского о советском театре - он интервью давать отказывался, и я предложил хитрый план: Завадский только что был в Англии, я попрошу у него интервью об английском театре, а там уж постепенно сведу разговор на советский. Завадский клюнул на эту удочку - но вскоре выяснилось, что я не знаю английского режиссера, который ему больше всего понравился, и он говорить со мной отказался. Едва я, удрученный, вышел из театра, как вспомнил, что статью именно этого режиссера о театре без занавеса я буквально вчера читал в бюллетене посольства США в Москве видимо, мои знакомства с американцами и моя работа для АПН относились к каким-то несовместимым в моей голове сферам. Скажи я про эту статью, я бы очаровал Завадского, но не возвращаться же было с криком "Я вспомнил! Я вспомнил!" Возглавлял Завадский Театр имени Моссовета, названия советских театров вообще нешуточны: Театр имени Московского Совета, Театр имени Ленинского комсомола, Театр имени Советской Армии. Да и их главные режиссеры походили скорее на генералов, чем на режиссеров. Несколько иное впечатление производил Леонид Варпаховский - тогда было много шума вокруг его постановки "Дней Турбиных" Булгакова. Как и Плучек, он был одним из последних учеников Всеволода Мейерхольда: когда тот ставил "Ревизора" Гоголя, там у жены городничего должны были из тумбочки выпрыгивать молоденькие офицеры, вот Мейерхольд и подбирал себе в студию молодых людей, таких, чтобы помещать в тумбочку. При всем успехе и благополучии Варпаховского чувствовалось, что что-то в нем сломано, он много лет провел в лагерях на Колыме, потом был режиссером театра в "столице Колымского края" Магадане - я не знал тогда, что шесть лет спустя побываю в этом театре. Варпаховский производил впечатление большого интеллигента - и вдруг вышла толстая бабища, совершенный тип еврейки, торгующей рыбой на южном базаре, его жена, она и была торговкой - в ларьке в лагере, где он сидел; она спасла его, когда он "доходил", затем они поженились в Магадане и жили, насколько я понимаю, счастливо, что делает честь им

обоим. Он отнесся ко мне дружески, хвалил мою пьесу "Конформист ли дядя Джек?" и, поскольку поставить ее в советском театре было невозможно, предложил переделать какую-нибудь повесть Гоголя для сцены - я выбрал "Нос". Но когда КГБ решил выслать меня из Москвы и обо мне начали наводить справки в театрах, Варпаховский, не сам, а через свою лагерную жену пьесу мне сразу же вернул. В годы моего детства иногда на сцене бывало больше народу, чем в зрительном зале - особенно на революционной пьесе с показом народных масс, теперь же во многие театры было невозможно достать билеты. Хрущев был уже смещен, но у новых властей до театра не доходили руки - и скрытый потенциал русского театрального искусства начал проявляться, вспомнили о Мейерхольде, Вахтангове, Таирове. Казалось, что достижения русского театра первой четверти века не погибли, а несколько десятилетий тлели, как угли под слоем пепла - и готовы были вспыхнуть. Об Анатолии Эфросе говорили как о наиболее одаренном из молодых режиссеров - но как раз с него и началось в 1976 году контрнаступление властей на театр. Снятие его с поста главного режиссера Театра Ленинского комсомола вызвало протест - пример культурного диссидента, который развивался параллельно с диссидентом политическим, а потому казался властям тем более опасным. Многие актеры ушли из театра вслед за Эфросом, а когда новый режиссер на собрании сказал патетически: "Меня послала сюда партия!" - из зала закричали: "Идите к тем, кто вас послал!" Силы, однако, были неравны и партия, как всегда, победила. Я познакомился с Эфросом, когда он был уже переведен как рядовой режиссер в Театр на Малой Бронной, но был еще полон недавно пережитой борьбой. Через полтора года он показался мне другим человеком: неуверенным, с опустившимися плечами. Он пригласил меня на премьеру "Ромео и Джульетты" - но как раз в это время я был арестован. Случайно я попал на его постановку "Вишневого сада" в Театре на Таганке в 1976 году, очень хорошую, я бы сказал, с известной насмешкой над Чеховым и его героями, но мне все же было скучно смотреть. Я понимаю, что пьесы Чехова могут нравиться многим - на Западе даже больше, чем в России, но мне его проблемы казались неинтересными. Мы договорились с Эфросом о встрече - и снова за несколько дней до этого я был схвачен КГБ и вывезен из Москвы: Гюзель сказала, что, значит, Бог не хочет нашей встречи. Наступление властей не остановилось на Эфросе. Были запрещены сначала "Теркин на том свете" Твардовского в постановке Валентина Плучека, "Смерть Тарелкина" Сухово-Кобылина в постановке Петра Фоменко, "Доходное место" Островского в постановке Марка Захарова, а затем началась и замена главных режиссеров. "Доходное место" понравилось мне, пожалуй, больше всего, "Хочу быть честным" Войновича он тоже поставил хорошо, но, как человек молодой, перегрузил всякими трюками. В начавшихся чистках Марк Захаров не погиб напротив, через несколько лет занял место Эфроса в Театре Ленинского комсомола, может быть, сыграла роль его русская фамилия, хотя и был он полуеврей. Боюсь, что при смещении и назначении режиссеров с 1976 года этот критерий стал основным. Татьяна Щекин-Кротова, секретарь Фрунзенского райкома Москвы, где расположено много театров, сказала мне, что наконец, они снимают Бориса Львова-Анохина, у них это последний еврей. Львова-Анохина они сняли как раз в то время, когда он предложил мне к столетию Ленина переделать для театра "Синюю тетрадь" Казакевича, повесть о том, как Ленин живет с Зиновьевым в шалаше и пишет книгу "Государство и революция" - из нее самой можно было бы сделать абсурдистскую пьесу. Если брать людей искусства в Москве, число евреев и полуевреев было огромно, особенно среди сколько-нибудь одаренных людей, - значит, и поле борьбы для антисемитов было огромно. Мне кажется, для исключительной роли евреев в советском искусстве было много причин, как исторического порядка, так и биологического. Русским, зачастую очень одаренным, как правило, не хватало культуры, не хватало умения работать и развивать свой талант. Из режиссеров того времени сейчас только Юрий Любимов держится - даже поставил "Мастера и Маргариту" по роману Булгакова. Думаю, что если бы при всех прочих качествах он носил фамилию Цирлин или Ципельзон, от его театра остались бы рожки да ножки. Актеры казались как-то тяжелы мне, вот именно что-то "актерское" отталкивало - действительно, ведь это ужасно тяжело все время "играть" кого-то, если только

не самого себя, эти перевоплощения должны разрушать человека. Есть пропасть между сценой и жизнью, как-то, зайдя за кулисы, я увидел в коридоре актрису, которую только что видел на сцене, - и испытал такое смущение, как если бы увидел ее голой. Интервью с актерами у меня не было, если не считать двух могикан: драматическую актрису Алису Коонен, очень знаменитую в двадцатые-тридцатые годы, и оперного певца Ивана Козловского. С Алисой Коонен мне хотелось познакомиться еще и как с вдовой Таирова - она и жила в их старой квартире на задах бывшего Камерного театра, удивительно, что ее не выгнали на улицу, когда Сталин закрыл театр за "космополитизм". Это была маленькая старушка, лет уже за семьдесят, но с ясными глазами и живым умом, в ней еще сильно чувствовалось желание нравиться, в ее словах угадывалась горечь того, о ком говорят: "Как, она еще жива?", хотя обрыв карьеры - это начало легенды. Она с восторгом говорила о двадцатых годах, о Луначарском как великом вожде боюсь, своего рода старческая aberrация. Журнал "Театр" вскоре начал печатать ее мемуары, что для нее было компенсацией за годы невнимания. В АПН, после некоторого размышления, мое интервью печатать не стали. Она говорила, что актеры должны смотреть на своё тело как скрипач на скрипку, но молодые телом владеть не умеют, а говорят так, словно каши в рот набрали. Скептическое отношение стариков к молодым, видимо, оправдано система отбирает наиболее посредственных и отшлифовывает совсем уже средних: моя горбоносая подруга ушла из театрального училища, потому что боялась, что к концу курса у нее станет курносый нос, "как у всех". Виктор Розов хороший драматург, но именно воплощение хорошей посредственности - сказал мне, что среди его учеников в Литературном институте нет ни одного, у кого мог бы быть какой-то неожиданный поворот в пьесе. В дни моей юности в России, я думаю, не было никого, кто не знал бы Ивана Козловского, голос его все время звучал по радио, престиж оперы был необычайно высок - он же был лучший солист Большого театра. Мне кажется, впрочем, что тембр голоса у Козловского не очень приятен и лучшая партия его - это партия юродивого в "Борисе Годунове": Пода-а-йте копеечку..." Сейчас, вероятно, его стали забывать. Меня принял величественный седовласый старик, долго расспрашивал, для какого отдела АПН я работаю и кто мой начальник. Затем, посожалев что я незнаком со стенографией, чтоб дословно записать его, он рассказал о фонтане в "Борисе Годунове", у которого самозванец объясняется Марине в любви, в двадцатые годы это был условный винт, а в сороковые, борясь за реализм, его заменили настоящим фонтаном, который брызгал и мешал актерам петь; более же всего в его разговоре занял место вчера происшедший случай, когда в баре недалеко от его дома кто-то напился и отказался платить со словами: "Как вы смеете требовать у меня деньги, я - Козловский!" И вот теперь Козловскому, правда, не участковый милиционер, а комиссар милиции звонил и спрашивал, был ли это сам Козловский или самозванец, как в сцене у брызгающего фонтана. "Деятели искусств", облеченные властью, были довольно откровенны. Так я сделал интервью с Екатериной Балашовой, главой Союза советских художников, не сказав с ней ни одного слова. Я написал приблизительно все, что она может сказать, и передал ей во время какого-то заседания; сидя за столом президиума, она просмотрела рукопись и вернула мне, сделав одну маленькую поправку; интервью под заголовком "Художники в общем строю" было опубликовано в газете "Советский спорт". Во время этого же заседания я услышал выступление художника из Сибири: "Я удивлен, что вы всерьез обсуждаете здесь, как писать, для нас стоит только один вопрос - что писать!" Глава Союза композиторов Родион Щедрин на вопрос, что он думает о будущем советской музыки, ответил, что вот скоро будет съезд композиторов и тогда он узнает, что он думает, а пока что предпочитает ничего не думать. У него в квартире прекрасные работы, подаренные его жене Марком Шагалом, висели рядом с ужасной чепухой. По дороге домой у меня развалились ботинки - и не было денег, чтобы их починить, поэтому я думал о Щедрине с раздражением, которое он несколько не заслужил. Впоследствии в свердловской тюрьме я по радио с большим удовольствием слушал его балет "Кармен-сюита", он переделал оперу Бизе для своей жены Майи Плисецкой. Из музыкантов вспоминаю еще очень настойчивого и

похожего на Фантомаса изобретателя, который изобрел машину для обучения игре на рояле: если ученик ударял не по той клавише, загоралась сигнальная лампочка. Не Борис Алексеев, правда, дал мне первое задание, но он предложил мне два наиболее странных. Сначала он заказал серию статей о московских коллекционерах. Только что был организован Клуб коллекционеров при Московском доме художников, вообще же коллекционирование картин считалось делом сомнительным. "Покажи-ка, что у тебя тут за антисоветчина повешена" - так министр иностранных дел Андрей Громыко просил своего заместителя Владимира Семенова показать его коллекцию русской живописи начала века. Коллекционеров, могущих быть допущенными в клуб и захотевших туда войти, оказалось человек тридцать, в основном собирателей живописи XIX - начала XX века, а также фарфора и других раритетов. Впрочем, Георгий Костаки, русский грек, работавший у Громыко на более скромном, чем Семенов, посту, собирал одно время молодых - когда была надежда, что за ними будущее. Но основу его коллекции составляли художники первой трети века - я думаю, это была лучшая в России коллекция этого периода, он начал собирать ее тогда, когда картинами Малевича и Шагала затыкали выбитые окна в уборных. Костаки был человек любезный и очень хитрый, хотя на меня производил впечатление недалекого. Плавинский смешно рассказывал, как Костаки покупает картины у молодых художников. - Прекрасная картина, - говорит он, облюбовав, как правило, лучшую, сколько вы за нее хотите? Художник мнетя. С одной стороны, он не хочет запросить очень много, чтоб не отпугнуть Костаки, с другой - слишком мало, чтобы не принизить себя как художника. - Ну, рублей сто, - говорит он, наконец. - Как сто? - поражается Костаки. - За такую картину сто рублей? Да она стоит по крайней мере двести! Так и договоримся - и вот вам двадцать пять рублей задатку. И они расставались очень довольные друг другом. Были, впрочем, назойливые художники, которые напоминали об остальных деньгах - но не все ведь. Однако, как бы там ни было, Костаки сделал огромное дело, спас много картин от гибели и художников от забвения. Никто из его детей не проявил к коллекции интереса, и в связи с его эмиграцией она, вероятно, частью будет погребена в государственных запасниках, частью растворится за границей. Еще более интересная коллекция была у Феликса Вишневого, он собирал западноевропейскую и русскую живопись, мебель, фарфор, драгоценности. Ходил он всегда в потертом пиджачке, держался незаметно, в отличие от внушительного и громкоголосого Костаки, и проработал почти всю жизнь товароведом в спичечной промышленности. Собирал он с ранней юности, я запомнил его рассказ, как в двадцатые годы его послали в Суздаль на борьбу с "религиозными предрассудками" - борьба эта заключалась в том, что должен он был рубить топором старые иконы и сжигать в печи. "Я плакал и рубил, говорил он, - жег и плакал", - но что-то спас для коллекции, надеюсь. Несколько раз у него коллекцию конфисковывали - и он начинал все сначала. Жил в дачной пристройке под Москвой, пока в начале шестидесятых годов один из его друзей не завещал или не продал ему двухэтажный деревянный дом в Замоскворечье. По этому дому он водил меня несколько часов, показал даже Кранаха-старшего, висевшего у него в спальне, вообще из массы картин, вывезенных из Германии советскими генералами, выудил он немало интересного. Была у него также коллекция русских крепостных художников, в первую очередь Тропинина, и Вишневский предлагал передать государству дом и большую часть коллекции, чтобы устроить музей Тропинина, а ему остаться даже не директором, а заместителем. Но государство у него подарок никак не принимало, потому что новый музей - это новые заботы, штат сотрудников, включение в план... Между тем в 1970 году КГБ его коллекцию опечатал, его вызывали на допросы и грозили конфискацией - государство непременно хотело взять силой то, что ему предлагали добром. У этой истории все-таки благополучный конец: музей Тропинина открыли, и Вишневский остался при нем. Едва весной 1968 года я отнес в редакцию несколько статей о коллекционерах, правда, не о Вишневском и Костаки, как мне позвонил Борис и сказал, что для английской печати нужна серия статей о советских неофициальных художниках, "причем так, чтобы видно было - никто их здесь не преследует". Если о неофициальных художниках и появлялись статьи советских журналистов, то под заголовками "Помойка No 8" или "Дорогая цена чечевичной

похлебки". Я надеялся, что смогу написать достаточно объективно - даже в тех рамках, которыми меня ограничили бы, что мои статьи будут полезны для художников и что никто лучше меня не напишет об этом. Я выбрал для начала Анатолия Зверева, Владимира Вейсберга и Оскара Рабина - они, как мне казалось, хорошо представляли разные направления и методы в неофициальном искусстве, каждый по-своему они оказали большое влияние на меня. К сожалению, мои отношения со Зверевым и Вейсбергом впоследствии распались, оба были людьми с сильными психическими отклонениями. Вейсберг, например, заподозрил меня в том, что я хожу к нему, чтобы выведать его живописные секреты и передать своей жене. Вместе с тем он был одним из наиболее интересных и культурных художников. Он создал теорию построения валерного ряда на полутонах и четвертьтонах - и этой теории следовал. Я тогда уже боялся, что живопись его будет становиться все более безжизненной и по существу все менее информационной, - так и получилось, судя по его последним картинам, которые я видел в Лондоне и в Венеции. Когда он преподавал живопись, одна из его учениц - уже немолодая - сказала, что, по ее мнению, учить художников следует так, чтобы способствовать развитию их индивидуальности. Вейсберг любезно покивал головой, а минут через пять заметил: "Вот ведь бывают дамочки, все у них есть - муж есть, диван есть, телевизор есть, так им еще индивидуальность захотелось! Возьмите Сислея и Писсарро, художники замечательные, но вы не всегда отличите картину одного от другого, индивидуальность встречается реже, чем талант! - И в сердцах закончил: - Я учу живописи, а не индивидуальности!" Затея с художниками придавала большое значение в АПН - шло это "сверху", как сказал мне начальник отдела, захотевший тут со мной познакомиться, он очень ругал "допотопный" стиль советских газет, говорил, что за границу нельзя вести пропаганду в лоб, как мы делаем дома, нужно все делать тоньше вот как такая "тонкость" и были задуманы мои статьи. Но, как верно говорит русская пословица, где тонко - там и рвется. В АПН ко мне хорошо относились, мне даже предложили поступить заочно на факультет журналистики, по закрытому конкурсу: распределялись места по разным редакциям для сотрудников, не имеющих журналистского образования. К большому удивлению всех, я отказался. Уговорам и даже возмущению не было конца - особенно дочь маршала Буденного насадила на меня, по природе, вероятно, добрая женщина: как же так, за такие лакомые места идет борьба, а здесь самому подносят - и он отказывается! Но я понимал, что никакого движения вверх по советской лестнице у меня быть не может; можно было бы поступить из любопытства, но подвести тех, кто рекомендовал меня. Стиль отношений в АПН - даже с не слишком высоким начальством - был непринужденный и дружеский. Но только на поверхности: глубже чувствовалось недоверие друг к другу, боязнь сказать лишнее, журналисты были тоже актерами, разыгрывавшими простых парней и девушек, а на другом уровне "стойких и непримиримых работников идеологического фронта", так что их жизнь превращалась в игру, в которой собственная личность постепенно терялась. Когда человек вступает на этот путь молодым, он еще цельная натура и может чувствовать себя счастливым, но с годами - внешне даже преуспевающий и уверенный в себе - он превращается в духовную развалину, конечно, если у него есть бессмертная душа. У многих партийных и гебистских функционеров души нет - а следовательно, ни явных, ни тайных душевных мук.

Глава 3. МОНОЛОГ С ЗАЖАТЫМ РТОМ

- А это наш домашний самиздат! - показал мне книжечку со стихами и рисунками своего семилетнего сына один коллекционер. Как ни странно, я впервые услышал это слово, между тем я уже передал два экземпляра "Нежеланного путешествия в Сибирь" за границу, а один - своим друзьям в Москве. Я заканчивал книжку летом 1967 года, в деревне на Оке, за домом начинался спуск к воде, а под окном гулял гусак, настолько злой и решительный, что бросался на меня. Заходил к нам местный пастух, который говорил, что не нужна была революция, раз бывшие господа пробрались в партию и опять стали начальством. Был женат он на еврейке и очень этим гордился. В один прекрасный день я увидел у дома гражданина следственного вида, такие лица можно узнать в толпе, и в тот же день, воротясь с прогулки, я

не смог обнаружить листки с планом моей книги. Все было цело - плана, с которым сверялся еще утром, не было. Не дам голову на отсечение, но не исключено, что КГБ узнал о моей книге. Известны случаи, когда КГБ знает, что пишется или печатается какая-то, с его точки зрения, криминальная книга; у Веры Лашковой, машинистки Гинзбурга и Галанскова, двое агентов, зайдя под каким-то предлогом, похитили несколько листов, но дали довести дело до конца, чтобы иметь "законченное преступление". КГБ нуждается иметь у себя в "загашнике", как там говорят, несколько "дел" на тот случай, если партийному руководству понадобится "идеологический процесс". Такой процесс - над Галансковым и Гинзбургом - уже готовился, так что я мог быть отложен "на потом". С другой стороны, когда заведомо не хотели, чтобы чья-то книга стала известна, то делали обыск и без шума изымали рукопись, как это было с романом Василия Гроссмана. Но во многих случаях КГБ узнавал о той или иной рукописи уже постфактум. Если же КГБ знает или догадывается о чем-то - но пока не мешает, значит ли это, что вообще ничего не надо делать, чтобы не давать никакой работы КГБ? Значит ли это, что отсутствие всякой оппозиции приводит к прекращению активности политической полиции? Если стать на точку зрения, что да, приводит, то я все же предпочел бы, чтобы мне зажимала рот полиция, чем я сам себе. Потребность своим творчеством менять окружающий мир - еще более глубока, чем потребность к нему приспособливаться. Если человек откажется сделать оценку того, что его окружает, и высказать ее - он начнет разрушать сам себя раньше всякой полиции. Но в действительности отсутствие реальной оппозиции отнюдь не приводит к прекращению активности политической полиции - наоборот, она становится более активной, потому что ей приходится придумывать оппозицию, и чем более смывается критерий оппозиционности, тем шире на захват работает машина уничтожения, хороший пример - сталинский террор. Но как только появляется оппозиция реальная - террор начинает сужать свои рамки, и чем далее эта оппозиция идет вперед, тем более она обезопасивает свои тылы. Те, кто говорит об "экстремистах в окружении Сахарова", благодаря этим "экстремистам" сами могут быть в безопасности, не будь перед ними этого заслона - их посадили бы за невинные пожелания, обращенные к властям. Конечно, всегда возникает вопрос, до каких пределов доходить оппозиции, чтобы не стать источником нового зла. Сейчас под "экстремистами", мешающими постепенной либерализации, имеются в виду люди, требующие амнистии для политзаключенных, свободы слова, собраний, ассоциаций и демонстраций, устраивающие демонстрации с участием пяти или пятидесяти человек и обращающиеся к Генеральному секретарю ООН или парламенту США. Это довольно невинный вид "экстремизма", но можно допустить, что через несколько лет мы столкнемся с настоящим экстремизмом, как поджоги, взрывы и убийства, примеры этого уже есть. Исторический опыт показывает, что чем упорнее не хотят допустить никаких изменений правящие круги, тем более крайние формы принимает борьба против них, власти в значительной степени сами формируют стиль оппозиции. И если говорить о том, кто виноват в послереволюционных ужасах, через которые прошла и все еще идет Россия, я склонен обвинять в первую очередь Николая II, а уже во вторую - Ленина. Называю эти имена в собирательном смысле - как выражение того, что они олицетворяли. Вопрос о пределах борьбы с деспотизмом имеет и моральный, и политический аспекты. Стало общим местом приводить в качестве негативного примера убийство Александра II народовольцами 1 марта 1881 года: это было не только убийство царя, проведшего либеральные реформы, но и произошло накануне ожидаемого перехода к почти конституционной форме правления. Вступивший на престол Александр III, напротив, перешел к политике реакции. Безусловно, убийство заслуживает морального осуждения - Александра II так же, как и Николая II, которое в высоком смысле слова было историческим возмездием. Но вопрос о политических последствиях 1 марта кажется мне спорным. Во-первых, едва ли сами реформы Александра II были бы возможны без давления снизу и поражения России в Крымской войне. Если бы не угроза левого экстремизма - не интеллигентского еще, но новой пугачевщины, - правые никогда бы этих реформ не допустили. Во-вторых, начатый процесс реформ требовал развития, с пониманием того, что левый экстремизм ему будет сопутствовать, но по мере

органического развития реформ сходиться на нет. Вместо этого реформы были остановлены самим Александром II - и тем самым левый экстремизм, желание добиться всего сразу получили дорогу. Наконец, так ли уж точно Александр II подписал бы лорис-меликовскую "конституцию", а Александр III точно не подписал бы? Весы колебались и в конце одного царствования, и в начале второго. Победили реакционеры, а не реформаторы, но не потому, что Александр III отвечал на убийство отца, а потому, что левые экстремисты исчерпали себя убийством и, не имея никакого плана реформ, перестали быть силой. В 1905 году террор имел обратные результаты: он способствовал тому, что Николай II дал "конституцию", хотя едва ли он на убийства своих министров смотрел более положительно, чем Александр III на убийство отца. Продолжая предложенную мне Гинзбургом перед его арестом роль, я стал как бы связным между его матерью и иностранными корреспондентами, которые следили за его и Галанскова делом как за продолжением дела Даниэля и Синявского. Вернувшись из приокской деревни, я часто заходил к Людмиле Ильиничне Гинзбург; небольшого роста, несколько даже горбатая, была она очень оживлена всегда, в молодости, вероятно, напоминала белочку, а в старости американскую писательницу Лиллиан Хелман, которую Жданов ставил в пример Ахматовой; кажется, сам Гинзбург дал ей прозвище "старушка", хотя и была она не настолько стара, и не только все ее за глаза так называли, но и сама она говорила о себе: "старушку позвали в гости" - с одобрением, "старушку не позвали в гости" - с неодобрением. Две ее комнаты - одна большая, увешанная картинами, другая маленькая, заставленная книгами, стали как бы клубом возникающего тогда Движения. Несколько раз я встречал там молодого человека, рослого, но рыхлого, с комсомольским отпечатком на добродушном лице. Людмила Ильинична уже говорила мне - значительно, - что у нее бывает внук покойного наркома иностранных дел Максима Литвинова, и я с удивлением узнал, что это и есть внук, впрочем, он действительно походил внешне на деда. Глядя ретроспективно, можно сказать, что в оппозиционное движение вливались две струи. Во-первых, люди, с юности понимавшие природу советского режима; они, в большинстве своем, смотрели на него как на печальную неизбежность - и пытались приспособиться к нему или найдя какую-нибудь нишу, или - наиболее циничные - становясь его функционерами, но когда вдруг оказалось, что сопротивление возможно, некоторые из них стали постепенно примыкать к Движению. Во-вторых, люди, с юности верившие в конечную правоту этого режима и постепенно увидевшие разрыв между его идеалами и практикой, это порождало в них желание активно способствовать "улучшению режима" и приводило многих в Движение; одни из них оставались внутренне коммунистами хотя из партии их исключали - и отстаивали "социализм с человеческим лицом", другие постепенно отходили от коммунистической идеологии, находя, что уже в ней самой лежит зародыш тоталитарного насилия. Можно говорить и о двух поколениях оппозиции - мировоззренческих, а не возрастных - поколении 1956 года и поколении 1966 года. "Поколение 56-го года" сформировалось под влиянием десталинизации, волнений в Польше, но главным образом - под влиянием венгерского восстания в октябре 1956 года. Я помню, с каким страстным нетерпением ждал я сообщений из Венгрии и как был несогласен, когда, сидя у нас, приятель отца говорил, что "как-то надо помочь венгерским коммунистам": в советских газетах как прелюдия к вторжению появились фотографии повешенных за ноги сотрудников венгерской госбезопасности. Если бы в то время была какая-то организация, которая предложила бы мне с оружием в руках бороться с режимом, - я бы, не раздумывая, согласился. Но думаю, что такой организации не было. "Поколение 66-го года" сформировалось под влиянием суда над Синявским и Даниэлем в 1966 году, чехословацких реформ 1967-68 годов и, наконец, советского вторжения в Чехословакию в августе 1968 года. "Поколение 56-го года" было поколением "недоучек" - беру это слово в кавычки, поскольку это любимый эпитет советской печати по отношению к нам, но можно употребить его и без кавычек, мы действительно слишком рано обнаружили свое несогласие, чтобы нам дали закончить образование: и Галанскова, и Гинзбурга, и Буковского, и меня, и многих других по несколько раз исключали из университетов, для некоторых исключение предшествовало

аресту или следовало за ним. "Поколение 66-го года", напротив, было поколением "истаблшмента" - вместо недоучившихся студентов пришли доктора наук, вместо поэтов, не напечатавших ни одной строчки, - члены официального Союза писателей, вместо "лиц без определенных занятий" - старые большевики, офицеры, артисты, художники. Для многих из них 1953-56 годы тоже были решающими, но они давали надежду на постепенные изменения к лучшему - и только явно наметившийся в 1956-66 годах поворот к ресталинизации усилил их внутреннее несогласие и вызвал протест. У людей моего возраста - как тех, чье отношение к режиму определилось в конце пятидесятых годов, так и тех, чье в конце шестидесятых, - формирование характера совпало с десталинизацией, с хотя бы частичным, но освобождением, хотя и не успешной, но борьбой - и потому, видимо, дало не всегда даже сознаваемую веру в возможность борьбы и конечной победы. В 1975 году Надежда Мандельштам, вдова поэта, сказала мне: "Я слышала, вы писали, что этот режим не просуществует до 1984 года. Чепуха! Он просуществует еще тысячу лет!" "Бедная старая женщина, - подумал я, - видно, хорошо по ней проехался за шестьдесят лет этот режим, если она поверила в его вечное существование". Раздражение власти и против "недоучек", и против истаблшмента - помимо общих - в каждом случае имело свои причины. В отношении истаблшмента "чего им не хватало?", ведь эти доктора и академики пользовались благами, недоступными среднему "советскому человеку". Мотивы "недоучек" были понятны властям - "озлобленность из-за собственных неудач", но - "как они посмели?! кто они такие?!". Особенно было непереносимо, когда "недоучка" становился известным: для того, чтобы стать кем-то в России, нужно получить признание "сверху", Солженицын получил такое признание - по ошибке Хрущева, но получил; но кто такой Амальрик? Как он посмел стать известным?! То, что я стал "писателем", не пройдя установленных ими для этого правил, до сих пор не дает покоя властям. Павел Литвинов принадлежал к "поколению 66-го года" - решающим толчком для него послужил суд над Даниэлем и Синявским, "боевым крещением" - суды над Хаустовым и Буковским, и к 1968 году он стал ключевой фигурой Движения. Как преподаватель вуза и, главное, как внук своего деда, он был и шагом к включению в открытую оппозицию представителей истаблшмента. Что он внук Максима Литвинова, бесконечно повторяло и западное радио; тогда все время подчеркивалось, что такой-то - сын или внук такого-то, диссиденты, дескать, люди не "с улицы", даже меня однажды назвали "сыном известного историка", хотя мой отец, как и я, был исключен из университета. Через несколько лет "Голос Америки" начал называть "известным историком" меня самого, к крайнему неудовольствию КГБ. Осенью 1967 года Павел был вызван в КГБ, где ему сказали, что им известно о составленном Павлом сборнике "Дело о демонстрации" - о процессах Хаустова и Буковского - и что ему "советуют" этот сборник уничтожить, в случае его хранения и тем более распространения он будет привлечен к уголовной ответственности. Это было, с точки зрения КГБ, мягким предупреждением, но оно имело неожиданный результат: Павел записал свой разговор и начал распространять. Он был опубликован за границей, и Би-Би-Си даже транслировала его театрализованную запись на СССР. Гюзель вспоминает, как Павел впервые появился у нас ночью и, сидя за столом, мы с видом заговорщиков передавали друг другу какие-то бумажки. "Разговор в КГБ", прочитанный тут же ночью по уходе Павла, произвел на меня огромное впечатление - и думаю, не на меня одного. Не сам разговор, конечно, ибо в подобных разговорах и предупреждениях недостатка не было, а то, что Павел записал его и предал гласности, бросив вызов не только КГБ, но одному из важнейших неписанных законов советского общества, своего рода соглашению между кошкой и мышкой, что мышка не будет пищать, если кошка захочет ее съесть. Солженицын пишет, как он, арестованный, мог много раз крикнуть, пока везли и вели его по Москве - и не крикнул. Понадобилось почти двадцать лет, чтоб Литвинов крикнул - когда ему только пригрозили арестом. Это сильно укрепило во мне чувство, что возможно не только неучастие, но и сопротивление этой системе. Но какое сопротивление? Когда в ноябре собрались у Людмилы Ильиничны отмечать день рождения сидящего в тюрьме Гинзбурга, я заметил, что по рукам ходит бумажка, которую, прочитав,

подписывают, и наконец Павел протянул ее мне со словами: "Вот подпиши!" Это было обращение к Генеральной прокуратуре СССР и Верховному суду с требованием, чтобы суд над Галансковым и Гинзбургом был открытым и подписавшие письмо были допущены на суд, - не первое и далеко не последнее обращение такого рода. Коллективные обращения к властям - в ЦК КПСС, Президиум Верховного Совета СССР, Генеральную прокуратуру, Верховный суд - начались в 1966 году, после ареста Даниэля и Синявского, носили сначала довольно робкий и просительный характер, затем стали приобретать все более требовательный. Возникнув среди тех, чьи имена, как они надеялись, могли произвести впечатление на власть, они были подхвачены и более демократической публикой - и какое-то время существовали два вида петиций, отличных и по стилю, и по подписям, под одной - просто И. Иванов, П. Петров, а под другой - И. Иванов, заслуженный деятель искусств, П. Петров, доктор технических наук. Как-то Людмила Ильинична в шутку, но с долей тщеславия сказала: "За нас подписываются профессора, а за Галанскова - дворники". Потом, правда, оба этих потока соединились, на какое-то время едва не иссякнув. Обращения с петициями к власти - форма протеста, характерная для авторитарных обществ. С петиций к королю началась французская революция 1830 года, с робких петиций началось движение, свергшее эфиопскую монархию в 1975 году. Так что, глядя с высоты птичьего полета, возникновение "кампании петиций" в СССР можно было бы рассматривать как признак перехода от тоталитаризма к авторитаризму. Но, конечно, такие общие соображения не приходили мне в голову, когда я взял протянутый Павлом листок; откровенно говоря, мне не хотелось его подписывать. Я думал, что наиболее реальным его результатом будет недопуск на суд, преследование подписавших, а я всего год назад вернулся из ссылки, и воспоминания о ней еще были живы в моих костях. К тому же и по своему мышлению, и по своему опыту я не был готов принять участие в коллективных действиях, формой протеста для меня были мои книги, однако было очень трудно и не подписать письмо: это значило или признать, что я боюсь, что молодым людям всегда неприятно, или показать, что я не так уж озабочен судьбой своих заключенных друзей. Поэтому я молча подписал протянутую бумагу. Когда, однако, через несколько дней я брал у Людмилы Ильиничны копию этого обращения для передачи иностранным корреспондентам, своей подписи я не обнаружил. "Я ее вычеркнула, - объяснила Людмила Ильинична, - я им сказала: у нас один Амальрик делает дело, зачем им рисковать" - она имела в виду мою роль "офицера связи". После этого я до своего ареста никаких коллективных обращений больше не подписывал. Не хочу преувеличивать свой страх, или, скажем мягче, осторожность - хотя это было первым чувством, но не таким уж сильным и долгим, я и тогда не подписывался, когда мне было уже нечего терять. Но у меня была интуитивная неприязнь к коллективным действиям, тот сильно развитый индивидуализм, с которым воюет советское воспитание, меня отталкивала необходимость "идти за флагом". Всякие коллективные действия, основанные на подражании одних другим - разумны они или нет, - содержат в себе элемент психоза; этот коллективный психоз особенно стал заметен впоследствии, в период отъездов за границу, когда многие поехали только потому, что едут другие. Даже стиль писем казался иногда неверным, а иногда просто смешным. В 1975 году меня просто разозлило начало обращения в защиту Сергея Ковалева: "Выдающийся биолог, защитник прав человека..." "Выдающийся защитник прав человека, биолог..." - вот как настаивал я начать, потому что биолог он или геолог, выдающийся или посредственный, это вопрос в данном случае второстепенный, его арестовали за то, что он защитник прав человека, и это самое важное. Одной из главных причин "кампании петиций" была вера, что власти примут в расчет общественное мнение и, по крайней мере, проявят гибкость и ослабят давление на общество. Но мне казалось, что небольшой успех петиций будет оплачен дорогой ценой, что первая реакция власти будет "Мы им покажем!" - и если власть проявила гибкость, то только в разнообразии методов преследования: аресты, увольнения с работы, лишения ученых званий, избиения, убийства, помещения в психиатрические больницы, а впоследствии - максимум гибкости - высылки за границу. Не удивительно, что поток петиций начал иссякать, - только через восемь лет он начал

подниматься снова. Но обращение, под которым в 1968 году можно было бы собрать триста подписей, через два года соглашались подписать пять-шесть человек; некоторые брали подписи назад и публично "сожалели", другие просто сожалели, сидя дома, - впрочем, не большинство. С другой стороны, те, чья подпись имела бы особое значение ввиду их положения и кому арест не грозил, говорили так: я могу подписать это письмо, но ведь оно ничего не даст, а мне хотелось бы закончить исследование, пока не отобрали лабораторию, или: мне хочется закончить фильм, которому я посвятил несколько лет жизни, - и их можно понять. Кстати, не страх, а сознание, что все равно ничего не изменить, часто парализует любые действия в советском обществе. Внутри самой оппозиции "кампания петиций" была позднее атакована с двух сторон: марксистско-экономической и христианско-этической. Либеральные марксисты писали и говорили, что кампания была лишена позитивной программы, велась романтическими методами и была, по существу, объективной провокацией, поскольку сбор подписей был передачей в КГБ списков недовольных; нужно было сидеть тихо, обдумывать социально-экономические программы и делать ставку на объективное развитие - уж оно-то не подведет. Христианско-этическая точка зрения сводилась к тому, что кампания преследовала только цель "улучшения" советского социализма, возвращения к хрущевскому реформизму - и таким образом не была подлинной оппозицией бесчеловечным основам системы. Не могу сказать, что обе оценки полностью неверны, да и из моих записок может создаться впечатление о скорее негативном отношении к кампании коллективных писем. Но я и тогда так не думал и тем более не думаю сейчас. Я считаю сейчас, что "кампания петиций", своих конкретных результатов не достигнув, тем не менее задержала процесс ресталинизации. Уже тогда я понимал, что найден важный инструмент воздействия на общественное мнение и даже для его создания - всякая подпись под письмом давала не только чувство сопричастности тому, кто подписывал, но и уверенность другим, что оппозиция - дело не одиночек, не общественная аномалия. То, что западные радиостанции довольно быстро передавали на русском языке изложение или даже полный текст многих обращений, очень содействовало этому. Быть может, еще более важно было, что человек, открыто ставя свою подпись, делал тем самым шаг для внутреннего освобождения - и для многих этот шаг стал решающим. Для политического положения в стране та или иная подпись могла не иметь никакого значения, но для самого подписавшего - стать своего рода катарсисом, разрывом с системой двойного мышления, в которой "советский человек" воспитывается с детства. Инакомыслящие сделали гениально простую вещь - в несвободной стране стали вести себя как свободные люди и тем самым менять моральную атмосферу и управляющую страной традицию. Неизбежно эта революция в умах не могла быть быстрой. Власть уничтожила многие человеческие понятия, и диссиденты должны были восстанавливать их, проявив мужество не с санкции общества - на миру и смерть красна, - а при его безразличии и даже противодействии. Думая, как в изолированном обществе мог возникнуть феномен диссидентства, куда уходят его корни, помимо корней, заложенных в самой природе человека, я прежде всего думаю о роли русской литературы. Запрещая на время Достоевского и не публикуя многие работы Толстого, власть все же не пошла на полное запрещение литературы XIX века - и в этом, возможно, была ее ошибка, ибо пафос этой литературы - в защите человека от системы. Именно это было глубокой и национальной почвой нашего движения, а вовсе не "западное влияние", о котором любят говорить чины КГБ и западные теоретики. Урок Запада - это прежде всего урок Мартина Лютера Кинга и его кампании ненасильственных действий. Но Кинг шел от Ганди, а Ганди от Толстого, идеи которого своего рода бумерангом вернулись в Россию. Вместе с тем и амбивалентный урок Толстого как явного предтечи революции, и урок вообще всей русской литературы, и опыт дореволюционного общественного движения не принимались нами не критически. Одной из доминант дореволюционной оппозиции была готовность пожертвовать своим "я" ради "общего" - и на этом все было потеряно. Но как этой бессмысленной жертве противопоставить не идею узкого эгоизма, а ценности "я" в общечеловеческом смысле, как, говоря словами Николая Федорова, жить не для себя лишь

одного и не для других только, но со всеми и для всех - поиски этого лежали в глубокой основе нашего Движения, и они же создавали реальные связи между людьми. Я стал бояться, что протесты, делаясь все более рутинными, с каждым разом будут находить все меньше отклика. Когда я весной 1969 года сказал это Красину, он ответил: "Но важно ведь и то, что сейчас ни одно преступление власти не проходит без открытого общественного протеста". Обращение к властям с письмами вызывало вопрос: возможен ли и нужен ли диалог с властью? У того же Красина я заспорил со священником Сергием Желудковым, говоря, что мы к власти можем обращаться только с вопросами формально-правового порядка, но не идейного: мы не можем обсуждать наши идеи с теми, кто сажает за идеи в тюрьму. И почти убедил его в своей правоте - чтоб затем самому в ней усомниться. Попытки диалога с властью - то есть попытки власть в чем-то "убедить" своим поступком, письмом или речью - почти никто, я думаю, не избежал. Иван Яхимович пытался убеждать своего следователя - и помещен в психбольницу, Солженицын писал "Письмо вождям" - и был выслан, я расскажу далее о своих попытках - столь же плачевных. По существу этот "диалог" есть монолог, который в какой-то момент прерывается кляпом и рот - но, может быть, все-таки прав был старик священник со своей христианской готовностью подставить вторую щеку? Если мы не убедим власть выслушать нас, "нас" в очень широком смысле слова, если мы упорно не будем протягивать им руку которую они кусают! - то рано или поздно все разрешимые еще проблемы "решатся" через море крови.

Глава 4. ПРОЦЕСС ЧЕТЫРЕХ

Суд над Галансковым и Гинзбургом начался - после года их пребывания под стражей - 8 января 1968 года, вместе с ними судили их машинистку Веру Лашкову и Алексея Добровольского, сыгравшего печальную роль провокатора. В зал пускали только по пропускам, у главного входа в Московский городской суд дежурили спецдружинники с красными повязками и наряд милиции. Друзей и родственников подсудимых, а также иностранных корреспондентов не пустили дальше тускло освещенного коридора канцелярии в левом крыле. У стен стояли молодые люди с индефферентивными лицами и рыскающими глазами, один из них подошел ко мне и, представляясь человеком случайно зашедшим, начал спрашивать, знаю ли я подсудимых и почему нас фотографируют: на лестнице, тоже перекрытой спецдружинниками, стоял фотограф и нацеливался на всех по очереди - сцена, потом повторявшаяся у всех судов. Не успел я ответить, как на меня закричали: "С кем ты говоришь?!" Впрочем, полностью игнорировать "стукачей", как мы их называли, не удавалось, время от времени происходили перебранки, женщины особенно старались сказать им что-нибудь пооскорбительней, один даже пожаловался другому: "Ну и клиентура нам попалась!" Не знаю, с какого рода "клиентурой" он привык иметь дело. Иногда возникало нечто вроде теоретических споров, например о культурной революции в Китае, и один из опердружинников в запальчивости сказал: "Что вы все ругаете Китай, там по крайней мере народ участвует в управлении государством!" Часов около десяти, расталкивая палкой путающихся у него в ногах стукачей, появился высокий пожилой ширококостный человек, в длинном темном пальто, с властным выражением, какое накладывает на лица долголетняя привычка командовать. Типичный сталинист, подумал я, должно быть, судья. Но к "судье" уже с улыбкой подходил Павел Литвинов. Оказалось, это генерал Петр Григоренко - вернее, бывший генерал, разжалованный в рядовые. В 1961 году, тогда глава кафедры военной академии, он выступил на партийной конференции с вопросом, "все ли делается, чтобы культ личности не повторился, а личность, может быть, возникнет", не стал каяться - и был отправлен на Дальний Восток, в своего рода ссылку. И тогда, как настоящий большевик, он решил бороться с "бюрократическим перерождением" по-большевистски - созданием подпольного Союза борьбы за возрождение ленинизма и распространением листовок. "Союз" был раскрыт, Петр Григорьевич арестован, разжалован и помещен в психбольницу специального типа. После смещения Хрущева он был освобожден. Вдруг произошло смятение, особенно журналисты бросились вперед: арестован Есенин-Вольпин! Действительно, по коридору протопал наряд милиционеров и посредине человек такого

вида, каким я представлял себе какого-нибудь раскольничьего вождя Никиту Пустосвята, - с всклокоченной бородой и безумными глазами. Оказалось, он совершенно случайно, скорее по профессорской рассеянности, попал между милиционерами, которые шли сменять караул, а те, молодые еще ребята, постеснялись вытолкнуть из своих рядов пожилого человека ученого вида. Александр Есенин-Вольпин, сын Сергея Есенина, математик и поэт, с конца сороковых годов проведенный много лет в тюрьме, ссылке и психиатрических больницах, первым понял, что эффективным методом оппозиции может быть требование к власти соблюдать собственные законы. Понятие общего, обязательного для всех закона - вообще очень слабое в России - окончательно было вытеснено в СССР понятием "целесообразности", и хотя сами законы были составлены только в интересах управляющих, даже и в таком виде они иногда обременительны для власти, а кроме того, в требовании соблюдать законы уже маячила опасная идея "правового государства". Еще студентом я читал погромные статьи о Есенине-Вольпине, но видел его впервые, при разговоре он производил впечатление человека, способного вырабатывать идеи, но не излагать их. В его стихах, несмотря на некоторый налет графоманства, чувствовалось что-то пронзительное. Родился он в один день со мной, но... на четырнадцать лет раньше. Здесь же я познакомился с Петром Якиром, четырнадцати лет попавшем в тюрьму после расстрела отца, командарма и проведенным в лагерях и ссылке около семнадцати лет. Когда в 1966 году начались осторожные попытки реабилитировать Сталина и появились его фотографии на разных выставках, Якир ездил по этим выставкам и срывал портреты: власти еще не знали, как реагировать. Довольно быстро разговорился я и с высоким иностранцем, с вытаращенными глазами и видом оболдуйским, человек общительный, он бойко, хотя и неправильно говорил по-русски - научился у продавщиц. Он спросил мое мнение о суде, и я ответил, что, как советский человек, я узнаю свое мнение из последней газеты - и показал ему газету, впрочем, в газетах о суде еще ничего не было. Рядом с ним стоял человек сухого, я бы сказал, профессорского вида, в очках, и молча, но со значительным видом слушал наш разговор. Карел Ван хет Реве, корреспондент газеты "Хет Пароль", действительно оказался профессором Лейденского университета, на долгие годы мы стали друзьями, и он первым издал мои книги за границей. Он вспоминает, что я, в темном пальто такого покроя, как носили в Голландии до войны, очень походил на школьного учителя. Заранее я договорился с корреспондентами, что вечером у Людмилы Ильиничны буду опрашивать допущенных в суд свидетелей и родственников - и сразу же у себя пересказывать им. Возле дома Гинзбургов дежурило две машины; едва я сел в троллейбус, как заметил, что одна едет сзади. Жене Галанскова, Ольге, так надоела ездившая за ней машина, что она, немного выпив, подошла и стала отвинчивать номер. По инструкции филеры не имеют права разговаривать со своими наблюдаемыми, так что водитель, вместо того чтобы отогнать ее, стал медленно отъезжать - Ольга побежала за ним, поскользнулась на обледенелой мостовой и так сломала ногу, что долгое время ходила в гипсе, напоминая мне Нону. Но я не был так решителен: я просто выскочил на следующей остановке, бросился в толпу у входа в метро, пробежал несколько переходов, спустился на станцию "Арбатская" - за мной никого не было, и, тяжело дыша, я облегченно прислонился к выбеленному своду. И вдруг я увидел, как откуда-то сбоку подходит молодой офицер с голубыми петличками войск КГБ, я все еще надеялся, что он пройдет мимо, но он вежливо, но твердо коснулся моего плеча. - Вы испачкались сзади, - любезно сказал офицер и стряхнул с моего учительского пальто следы побелки. Когда я приехал домой, корреспондент Рейтера уже ждал меня. А ночью, лежа в постели, я видел перед глазами обшарпанный коридор, лица стукачей, Каланчевскую улицу с покрытыми инеем деревьями, темную толпу у здания суда моментами как будто ледяная рука касалась сердца. На следующие дни коридор канцелярии тоже закрыли, и публика стояла у входа на улице. Публика в зале - активисты райкома и чины КГБ - свистела, шумела, топала ногами, перебивала свидетелей, подсудимых и их защитников. "Публика выражает свое мнение!" - отвечал судья на их протесты: вы, дескать, отстаивали свободу мнений, так нечего и возражать. Записей делать не давали, сделанные изымали при выходе -

раз даже отец Галанскова, неграмотный, а потому необысканный, вынес их в валенке. Свидетелей, вопреки закону, выталкивали после дачи показаний, выгнали даже сестру Галанскова. Все это накаляло атмосферу, и на четвертый день Лариса Богораз и Павел Литвинов около суда передали корреспондентам свое обращение "К мировой общественности". Написанное сильным языком, оно требовало "осуждения этого позорного процесса", "освобождения подсудимых из-под стражи", "лишения полномочий" судей. Одним прыжком был преодолен невидимый, но казавшийся непреодолимым барьер: обратились не к власти, а к общественному мнению, заговорили не языком верноподданных, но языком свободных людей, и наконец - обратились к мировому общественному мнению, поборов вековой комплекс, что русские - и стократ советские - к чужим обращаться не должны, мы - это мы, а они это они, сор из избы не выносить, лучше получить удар палкой от хозяина, чем кусок хлеба от прохожего. В тот же вечер по Би-Би-Си мы смогли услышать обращение в обратном переводе. Есенин-Вольпин, сидя с текстом в руках, повторял: "Так! Правильно! Точно!" Сгрудившись у радиоприемника, мы напоминали знакомую с детства картинку "Молодогвардейцы в фашистском тылу слушают Москву", с Людмилой Ильиничной в роли бабушки Олега Кошевого. На Западе поняли важность этого обращения, оно было - полностью или в изложении - напечатано во многих газетах, лондонский "Таймс" посвятил ему передовую, а последовавший в течение двух месяцев поток заявлений и обращений породил ожидание, что в СССР вышло на поверхность некое общественное движение и сейчас что-то произойдет - нечто сходное тем ожиданиям, которые в 1956 году породили теорию либерализации. Но проходили месяцы и годы - и ничего не происходило, кроме все новых и новых политических процессов, так что на ждущем немедленных результатов Западе возникла новая теория, что никакого общественного движения в СССР нет - а есть несколько, быть может, благородных, но наивных людей, которых по русской традиции - не нам ее менять - постоянно сажают в тюрьмы. Но если "реформизм сверху" и не привел к созданию либерального советского общества, то во всяком случае систему по сравнению с годами Сталина смягчил, так же и общественное движение не добилось демократического строя за десять лет, но нравственную атмосферу советского общества изменило. Суд был задуман как "показательный": власти хотели, продолжая намеченную процессом Даниэля и Синявского линию, показать, что на этот раз судят никаких не писателей, а молодых людей без определенных занятий, к тому же связанных с эмигрантским Народно-трудовым союзом. Версия НТС стала постепенно, хотя и не сразу вырисовываться в ходе следствия, выпукло предстала в обвинительном заключении, а в приговоре на нее был сделан главный упор - вопрос о содержании "Белой книги" Гинзбурга и "Феникса" Галанскова затушевался, главным считалось, что они якобы составили сборники по указанию и для публикации НТС, который "находится на содержании" Си-Ай-Эй и "ставит своей задачей свержение существующего в СССР строя". Эта версия была построена на показаниях Алексея Добровольского, ранее уже сидевшего несколько раз в лагерях и психбольницах. На следствии он почти сразу же начал, говоря лагерным языком, "колоться", причем в желании сотрудничать с КГБ перешел все границы: просился выступить по телевидению, чтобы предостеречь молодежь от "антисоветской деятельности", или сообщал место, где якобы Гинзбург зарыл "Белую книгу" вместе с другими сокровищами. КГБ безуспешно перерыл весь сквер возле дома Гинзбурга, но телевизионное выступление Добровольскому все же не устроил - оппозиция еще не доросла до такой чести, первое "покаяние" показали по телевидению только спустя пять лет. У Добровольского, единственного, нашли при обыске материалы НТС, он показал, что их дал ему Галансков, рассказав о своих и Гинзбурга связях с НТС. На суде появился эмиссар НТС Николас Брокс-Соколов; по-видимому, КГБ знал о его приезде и хотел подгадать прямо к суду. Из-за этого суд все время откладывался, вызывая очередное письмо протеста. Брокс-Соколов выехал из Франции, когда Галансков и Гинзбург уже давно сидели в тюрьме, и имел поручение передать лицу, которое так и не было названо на суде, пакет с тремя тысячами рублей и шапирографом, а также бросить в почтовый ящик пять конвертов с уже написанными

адресами. Но поскольку в конвертах были, в частности, открытки с фотографиями Галанскова, Гинзбурга и Добровольского, то КГБ считал, что для пропагандистского эффекта этого достаточно. Никакой связи Галанскова или Гинзбурга с НТС доказано не было, в лживости Добровольского убедиться легко. Но, во всяком случае у Галанскова, связь с НТС была. Бессмысленно говорить, что он получал "задания" или что у него было соглашение с НТС об издании "Феникса" - "Феникс" не был издан. Но к Галанскову приезжали посланцы от НТС, и он даже спрашивал меня, могут ли они заходить ко мне и передавать литературу. У него была идея купить в Грузии печатный станок, чтобы самим печатать журнал. На покупку станка он мог взять деньги от НТС, хотя вопрос очень запутанный - в деле фигурировали и доллары, и рубли, и неясно, кто у кого их брал и кто кому давал - Галансков Добровольскому или наоборот. Через несколько лет Совет НТС заявил, что Галансков был членом НТС, Буковский говорил мне, что это неправда, что, когда неизвестно было, выйдет ли он сам из тюрьмы, члены НТС стали намекать, что и Буковский вступил в НТС до ареста. Издания НТС я увидел впервые в 1962 году, а через полтора десятилетия познакомился за границей с некоторыми его членами. Народно-трудовой союз, или, как он тогда назывался, Национально-трудовой союз (молодого поколения) возник в 1930 году в Белграде - не только как реакция молодого поколения русской эмиграции на победившую в России идеологию большевизма, но и на обанкротившиеся, по их мнению, идеологии "отцов": консервативный монархизм и демократический либерализм. Естественно, что наибольшее влияние должна была на них оказать самая динамичная тогда идеология в Европе - национал-социализм, и сквозь благородный лозунг НТС "Пусть погибнут наши имена, но возвеличится Россия!" просвечивает "Ты - ничто, твой народ - всё!" НТС хотел влиять на события в СССР, было проявлено много юношеской самоотверженности, когда его члены отправлялись в Россию - и погибали там. С началом войны, как казалось многим в НТС, открылась возможность создания альтернативной силы. Но здесь было заложено неразрешимое противоречие: как можно было рассчитывать на "возрождение России", действуя под контролем тех, кто открыто ставил своей задачей ее уничтожение. Это хорошо видно на примере движения генерала Власова, в формировании программы которого НТС играла роль. Власов - каковы бы ни были его намерения - был марионеткой в руках немцев, и даже там, где другие его сотрудники готовы были сопротивляться, он немцам уступал. В плен попало много генералов, офицеров и солдат, готовых сражаться со Сталиным, но наиболее честные и дальновидные из них, ознакомившись с условиями немцев, от этого отказались. Тяжело это признавать, но именно Сталин в те годы стал символом национального сопротивления - благодаря безумной политике немцев. Война позволила Сталину и его приемникам консолидировать советское общество - поэтому советская пропаганда и сейчас твердит о войне, словно она вчера кончилась. К концу войны многие руководители НТС оказались в немецких тюрьмах, что позволило НТС сохранить лицо. Союз пополнялся бывшими советскими гражданами, и впоследствии многие забыли о его довоенной истории. Уроки войны и ориентация на западные демократии заставила НТС переделывать программу, соединять национально-солидаристские идеи с либерально-демократическими - не берусь судить, насколько это удалось, все-таки есть впечатление, что либерализм сидит на НТС как костюм с чужого плеча. Из всех довоенных и послевоенных политических союзов русских эмигрантов НТС единственный не погиб и по-прежнему старался распространить свою активность на СССР. Во многом желаемое выдавалось за действительное, а засылаемая в СССР литература подчас показывала отрыв от реальности. Уже в конце шестидесятых годов попала мне в руки пачка их листовок с надписью "Прочти и передай другому" - и я просто не знал, что со всем этим делать и кому отдать, но уничтожить показалось как-то трусливо, и я поступил совсем по-энтээсовски: разбросал листовки по почтовым ящикам. Правда, издательство НТС "Посев", помимо пропагандистской литературы, издало немало хороших книг, и многие в России могут быть благодарны ему. Из попытки НТС повлиять на демократическую оппозицию в СССР не могло ничего получиться - и не только потому, что диссиденты боялись жупела

"НТС" или не хотели брать на себя груза его прошлого. Были слишком различны и цели, и методы: стремление к постепенной демократизации советской системы открытым и легальным путем - у нас, и ставка на насильственное ее свержение и национализм - у них. Сама попытка как-то направлять движение внутри страны из эмигрантской группы, сформировавшейся при совсем иных условиях, едва ли могла быть удачной. "Не связывайтесь с НТС!" - говорил я Якиру позднее. Это не значит, что я отношусь к НТС отрицательно. Когда я слышу пренебрежительные отзывы о нем от новых эмигрантов, я всегда отвечаю: НТС существует полвека, еще неизвестно, на сколько хватит нас. В случае каких-либо потрясений в СССР и возможности перенести свою деятельность туда, эта организация - небольшая, но дисциплинированная, с политическим опытом, с понятными народу лозунгами и с решительными методами - сможет сыграть значительную роль. Суд закончился 12 января в 5 часов вечера. У входа собралось свыше двухсот человек, уже стемнело, был довольно сильный мороз, притоптывали диссиденты, корреспонденты, милиционеры. Вскоре начала выходить публика: с мрачными, озлобленными лицами, словно это их судили, фигуры в штатском пробегали к своим машинам. На вопросы, какие сроки, многие отвечали: "Мало! Мало!" Я удивлялся их ненависти, но теперь понимаю, насколько - особенно старым гебистам - была ненавистна толпа, так свободно собравшаяся на советской улице. Павел Литвинов и Саша Даниэль вынесли на руках Ольгу Галанскову с ногой в гипсе, вышла, громко плача, его мать, адвокатам преподнесли гвоздики, и все начали расходиться. Галансков получил семь лет лагерей, Гинзбург - пять, Добровольский - два, Лашкова - год. Из присужденных ему семи лет Юрий Галансков провел в тюрьме и лагере пять лет и девять с половиной месяцев - 2 ноября 1972 года в возрасте 33 лет он умер в Мордовском лагере в результате операции, проведенной с опозданием и неквалифицированным хирургом. На его могиле разрешили поставить крест и написать имя. Из четырех осужденных Галансков казался мне наиболее трагической фигурой. Не могу сказать, что знал его очень хорошо, хотя последние месяцы перед его арестом мы встречались часто. Был он очень серьезного, даже мрачного вида, и многозначительность, с которой он говорил о простых вещах, казалась мне признаком малоинтеллигентности, а стихи его - зарифмованной публицистикой. За всем этим просвечивало что-то детское. Он дал мне черновик "Открытого письма Шолохову", где честит его на все корки, а с середины письма повторяет "и вот, дорогой читатель" или "как я сказал, дорогой читатель". "Получается, Юра, что если как писателя ты Шолохова презираешь, то как читатель он тебе все-таки дорог", - сказал я. Письмо это впоследствии было одним из главных пунктов обвинения, лауреат Нобелевской премии Шолохов не только требовал расстрела для Даниэля и Синявского, но и смерть Галанскова лежит на его совести. За этой детскостью просвечивала еще черта, которой не могу найти иного названия, чем святость, или, проще, некоторое юродство в высоком смысле этого слова, нечто подобное я наблюдал потом у человека, во многих отношениях иного, чем Галансков, - у Андрея Дмитриевича Сахарова: огромная готовность помогать людям и способность переживать чужую беду как свою. Юра или мало понимал людей, или же считал, что в каждом человеке есть что-то хорошее, - все это обернулось против него. Добровольский писал Галанскову из камеры в камеру записки, чтоб Галансков взял его вину на себя, - и Юра брал и до того в показаниях запутался, что четырежды их менял. Двое бездельников, которых он приютил у себя, поил и кормил, показали на следствии, что он давал им доллары для обмена - и тем самым сделали расчетливого валютчика из человека, готового отдать последнюю рубашку. На доллары он, видимо, собирался покупать печатный станок, но при обмене мошенники вместо рублей всучили ему пачку горчичников. Как хохотали над этим сидящие в зале гебисты! Так же они хохотали над тем, что Юра мыл пол у больной матери Гинзбурга, когда тот первый раз сидел в тюрьме. К сожалению, не все, кто вступился за Гинзбурга, так же отнеслись к Галанскову. Сам Гинзбург сказал, что он просит суд дать ему срок не меньший, чем Галанскову. Из зала закричали: "Больше! Больше!" Сам себя Галансков называл пролетарским демократом и пацифистом. Когда в 1966 году американские войска высадились в Доминиканской республике, он устроил одиночную

демонстрацию протеста перед посольством США в Москве, сомневаюсь, чтобы кто-то в Доминиканской республике демонстрировал во время суда над ним. Если судить по его письмам, в заключении его все более стало интересовать христианство. Отец его был токарем, мать уборщицей, простая, толстая, с грубым голосом, она очень любила сына и пользовалась уважением его друзей, звали ее все "мама Катя". Следовательно, запугивая ее, зачитал наиболее криминальный отрывок из сочинения Юры: "Видите, что пишет ваш сын!" - Правильно пишет, замечательно, - сказала удивленному следователю "мама Катя", - просто за душу берет. - А что же он вам прочитал? - спросила Людмила Ильинична. - Да я не поняла ничего, гроб какой-то, могила какая-то, какая-то чушь, ответила "мама Катя". В советских газетах о суде появились статьи в том смысле, в каком изъясняется базарная торговка, когда хочет оскорбить кого-то; кроме того, было в них много неточностей, а говоря прямо - клеветы. Я предложил матери Гинзбурга и жене Галанскова устроить пресс-конференцию для иностранных журналистов - впрочем, и советским не возбранялось присутствовать, - чтобы рассказать, что действительно происходило в суде. Замысел казался очень смелым - это была бы первая встреча советских граждан с западными журналистами, открытая, но не запланированная "сверху". Я договорился с журналистами, попросил заранее не распространяться об этом, но не учел их привычки звонить друг другу и спрашивать: вы пойдете туда-то? а вы пойдете? Встреча была назначена на 11 часов утра 19 января в квартире Людмилы Ильиничны, кроме нее должны были быть Галанскова Ольга и я. Я зашел около одиннадцати и застал обеих в большом смятении: полчаса назад был помощник районного прокурора Смекалкин, сказал, что частным лицам запрещено устраивать пресс-конференции у себя дома и если они хотят встретиться с журналистами, то могут выйти на улицу - они уже оделись для этого. Я сказал, чтоб они ни в коем случае не выходили, ловушка была проста: недавно вышел закон о наказании до трех лет лагерей за "беспорядки, связанные с нарушением работы транспорта", нескольким агентам ничего не стоило бы создать толпу вокруг беседующих с журналистами женщин, остановить одну-две машины - и милиция была бы уже тут как тут. Ровно в одиннадцать раздался стук в дверь - и вошел первый корреспондент. Вид его показался мне странным: хотя одежда была иностранная, лицо совершенно русское, со служебно-советским отпечатком, а на руке его я заметил наконечник, что-то вроде "Вася" или "Не забуду мать родную" - по-русски, конечно. Он тем не менее повторил, что он иностранный корреспондент, приглашенный на пресс-конференцию. Я попросил удостоверение - он оказался сотрудником УПДК МИД Василием Грицаном, прикомандированным в качестве фотокорреспондента к агентству Ассошиэйтед Пресс. Поскольку он пришел один, я не сомневался, зачем он послан, и сказал, чтоб он уходил, никакой пресс-конференции не будет. Он обрадовался - не знаю, за кого уж он меня принимал, за "осторожного" ли друга Гинзбурга или за прокурора Смекалкина, - и сказал, что он как раз и пришел "подсказать", чтоб пресс-конференцию не устраивали и что мы можем сейчас совместно "выработать формулировочку", которую он сообщит журналистам. Я ответил, что никто в его подсказках не нуждается и пусть он уходит - после чего он ушел. Никто из журналистов, однако, не приходил - мы начали уже сильно нервничать, и около двенадцати я попросил Ольгу позвонить в бюро Рейтер. Корреспондент Рейтера объяснил, что их всех отдел печати МИД предупредил, что если они к нам поедут, то будут иметь "крупные неприятности". Этого туманного указания оказалось достаточно, чтобы никто из приглашенных не только не приехал, но даже не предупредил нас. Это сделало возможным две провокации - со Смекалкиным, и Грицаном, которые для обеих женщин могли бы кончиться плохо. Несколько корреспондентов, которых отдел печати не успел предупредить, подъехали к дому - и были повернуты назад агентами КГБ примерно с теми же туманными формулировками, или, как сказал бы Грицан, "формулировочками". Трех шведов агент сурово спросил, уж не на пресс-конференцию ли они направились, на что испуганные шведы ответили: "Нет, нет, мы здесь просто гуляем". Хороший ответ для представителей независимой прессы! Впрочем, и власти растерялись, ведь это была первая попытка такой пресс-конференции, казалось, что произойди она - что-то ужасное случится; потом пресс-

конференции диссидентов стали обычным явлением - и режим не рухнул. На этот раз события этим не кончились: московское бюро ЮПИ сообщило, что пресс-конференция была легально не допущена властями на основании указа 1947 года, запрещающего общение советских граждан с иностранцами, закон есть закон. Мы сразу же просмотрели этот указ, в нем речь шла о порядке сношений официальных советских учреждений с учреждениями других стран. Мне трудно судить, зачем глава московского бюро ЮПИ Генри Шапиро сделал эту передержку - действительно ли он считал указ подходящим к делу или, же хотел ввести в заблуждение своих коллег. Получив копию письма председателя латвийского колхоза Яхимовича с поддержкой обращения Литвинова и Богораз, г-н Шапиро сказал, что письмо подделано Литвиновым. Получив статью Сахарова "Размышления о прогрессе", он спрятал ее в стол со словами, что не нужно ничего писать об этом, чтобы не нажить "крупные неприятности". Подав в отставку после сорока лет службы в Москве, г-н Шапиро сказал: "Тот, кто верит и пропагандистский журнализм, не должен работать здесь. Если вы принимаете чью-то сторону, становитесь эмоционально вовлеченным, вы перестаете быть репортером". Трудно поверить, что сам г-н Шапиро было "эмоционально вовлечен", но он был вовлечен, и не трудно понять, чью сторону занимал репортер, которому разрешили пробыть сорок лет в Москве. Г-н Шапиро, по рождению румынский еврей, был перевезен в США подростком и натурализован восемь лет спустя. Часто человек, принадлежавший к веками гонимому народу, часть которого, чтобы выжить, должна лежать во прахе и унижении, человек с психологией изгнанника, вынужденный рвать корни в одном месте и пускать их в другом, такой человек начинает - подчас только бессознательно - руководствоваться психологией приспособления любой ценой. Русский народ создал на этот случай несколько хороших пословиц: с волками жить - по-волчьи выть; попал в собачью стаю - лай не лай, а хвостом вилай. И поскольку такой человек и профессиональном отношении часто делает хорошую карьеру - он может возглавить не только иностранное бюро агентства печати, но и иностранное ведомство великой страны, - то он начинает переносить свой стиль поведения на возглавляемую им инстанцию. Никакой иностранный журналист не может чувствовать себя в СССР "невовлеченным" летописцем, "добру и злу внимающим равнодушно" - прежде всего потому, что сам он объект манипуляции со стороны советских властей. Конечно, власти понимают, что они не в состоянии так управлять иностранной печатью, как они управляют советской, но воздействовать на иностранных корреспондентов в Москве с помощью политики кнута и пряника они могут. Само пребывание в Москве - с высокой зарплатой, домработницей, секретарем и шофером - пряник для части корреспондентов, для них возвращение на родину означает переход к более скромной жизни, нечто вроде переезда из колонии в метрополию. К тому же некоторые стремятся извлечь преимущества из разницы валютных курсов или разницы цен на советские и иностранные товары, а некоторые получают и прямые дотации от советских властей. Так, корреспондент "Униты" г-н Герра жаловался мне, что советское правительство платит ему дотацию главным образом в советских рублях, а не в конвертируемой валюте. Это было еще до эпохи "еврокоммунизма" - теперь, быть может, или совсем не платят, или платят в валюте ввиду большей независимости ИКП. Есть менее прямые способы поощрения - например, доступ к интересной корреспонденту информации, чаще только обещание доступа. Кнут тоже имеет несколько градаций: от предупреждения, сделанного в вежливой форме, до угрозы ареста - как с корреспондентом "Лос-Анджелес Таймс" в 1977 году, - или до привлечения к суду "за клевету" - как с корреспондентами "Нью-Йорк Таймс" и "Балтимор Сан" в 1978 году. Каждый раз это делается и для предостережения другим, и некоторые настолько хорошо эти предостережения понимают, что корреспондент "Шпигеля" в 1975 году публично заверил "Литературную газету", что он ни у какого диссидента никогда интервью брать не будет. Роль иностранных журналистов в СССР как важного источника информации была и остается огромной, в частности, без них Запад имел бы гораздо меньшее представление об оппозиции. Многие журналисты, несмотря на трудности, не поддались шантажу - об этом говорит хотя бы обширный список высланных из СССР за последние

пятнадцать лет. Однако у большинства отсутствует чувство корпоративности, в Москве до сих пор нет объединения или клуба журналистов выступи они совместно, власти уступили бы им, ибо сами боятся изоляции. Западные посольства играют скорее сдерживающую роль, склоняя журналистов не писать ничего, что было бы неприятно советским властям, а их редакции отступают под тем предлогом, что иначе вообще закроют бюро в Москве. Как быстро люди, попадая в условия тоталитарного режима, принимают его основное правило - иметь дело с каждым в одиночку. Я хотел написать рассказ, несколько в духе Гоголя, как иностранного корреспондента пригласили для предупреждения в отдел печати МИД и там высекли розгами - и вот корреспондент перед дилеммой, как ему теперь поступить, советуется с коллегами, запрашивает редакцию, обращается в посольство, и общее мнение: да, действительно, быть высеченным не совсем приятно, но ведь надо учитывать долголетние традиции России, он сам не всегда соблюдал чувство меры, к тому же - начини протестовать, русские могут обидеться, они ведь очень чувствительны к любому вмешательству во внутренние дела, как бы сгоряча не перепороли еще нескольких, с точки зрения права вопрос неясный - журналисты ведь дипломатической неприкосновенностью не пользуются, да и неудобно предъявлять голый зад в качестве улики, можно понять журналиста, но можно понять и МИД, и не надо жить эмоциями, идущими от разгоряченного розгами чада, но взвешивать все в ясной и холодной голове, видеть не только негативное, но и позитивное, - и сам журналист все это понимает, да и в тот момент, когда его секли, он чувствовал это. Рассказа я не написал, но весной 1970 года написал статью "Иностранные корреспонденты в Москве" - мой адвокат говорил потом, что она была для властей последней каплей. Статья долго ходила по рукам корреспондентов, как своего рода самиздат, - никто не хотел передавать ее за границу, опровергая тем самым мои утверждения об отсутствии корпоративности. Якиру, который особенно негодовал на "заговор молчания", в конце концов удалось передать ее - и она была опубликована по-английски в "Нью-Йорк ревью оф букс", г-н Шапиро был там обозначен точками. Ответил мне корреспондент "Нью-Йорк Таймс" г-н Гверцман - правда, не на то, в чем я обвинял его и других. Я сам понимаю, как сложно положение иностранца, попавшего в страну с чужой культурой, иным строем, без полной уверенности в своей безопасности, где он сам должен определять, что ему можно и что нельзя. Тем более важно добиться от советских властей распубликования закона о печати или правил для иностранных журналистов. Но для советских властей неопределенность - оптимальный вариант, а западные правительства не только не настаивают на распубликовании, но даже не хотят, как не захотел Госдепартамент США, составить для своих граждан нечто вроде правил поведения в СССР, основанных на международных соглашениях, советских законах и опыте предыдущих корреспондентов и дипломатов. Давать объективную информацию - это долг журналистов перед теми, для кого они пишут. Долг перед теми, о ком они пишут, скорее моральный, чем профессиональный. Маркиз де Кюстин, отзывы которого о матушке России иностранцы любят цитировать, писал, что в России "каждый иностранец представляется спасителем толпе угнетенных, потому что он олицетворяет правду, гласность и свободу для народа, лишенного всех этих благ... Всякий, кто не протестует из всех сил против режима, делающего возможными подобные факты, является до известной степени его соучастником и соумышленником". Наконец, просто стремление к социальному равновесию подсказывает, что богатые должны помогать бедным, образованные - невежественным, а те, кто пользуется благами свободы слова, - тем, кто этого блага лишен. Не все западные корреспонденты в Москве принимают всерьез эту сторону дела.

Глава 5. ТЕПЛАЯ ВЕСНА, ЖАРКОЕ ЛЕТО

После суда я познакомился у Павла с человеком небольшого роста - или он показался мне таким рядом с Павлом, лысеющим, с черными глазами и, по-моему, с черными усиками, стараюсь сейчас восстановить его облик и отчетливо не могу, но помню, что-то сразу насторожило меня, оттолкнула его сладковатость, которой всегда в людях не доверял. Поэтому я был недоволен, когда Павел привел Виктора Красина к нам - а у нас сидел Карел

Ван хет Реве. Но это впечатление скоро размылось в оживленном разговоре за неизменной бутылкой водки, можно ли "понять Россию умом" и нужно ли быть душевным и добрым. Нечего говорить, что Красин выступал за душевность, я же, к огорчению Гюзель, относился к душевности скептически. Карел ушел раньше, а когда Павел с Виктором начали одеваться, мы вдруг увидели на вешалке незнакомую убогую шапку - иностранному профессору она никак принадлежать не могла, в лучшем случае мог ее носить спившийся работяга. Но если шапку подбросили, то с какой же целью - мы ее стали мять, думая нащупать там спрятанный микрофон, хорошо, что не распорол, принадлежала она все-таки Карелу, который купил советскую шапку, подражая своему дяде, который в 30-х годах работал в Сибири. Потом я бывал у Красина на его "средах" или "четвергах", жил он в пригороде Москвы, в пристройке к деревянному дому, где были только стол, полка с книгами - все фотокопии зарубежных изданий, которые он охотно давал читать, - да раскладушка, застеленная овчиной, простынь он не признавал; он подчеркивал свое пренебрежение ко всякому удобству и тем более к роскоши, бывая у нас, прямо-таки попирал грязными ботинками ковер, к известному огорчению Гюзель. Думаю, что у большинства людей, из которых тогда начало формироваться Демократическое движение, Красин вызывал уважение - во всяком случае у меня. Живой ум, чувство юмора, смелость, готовность энергично работать для дела выдвигали его в первые ряды, к тому же он, как и Якир, имел в наших глазах обаяние человека, много лет прошедшего за свои убеждения в лагерях, - Якир, в сущности, эти страшные годы провел только за то, что был сыном своего отца. Красин попал в лагерь в конце сороковых годов со второго курса университета за участие в кружке, изучавшем религиозные философии Востока, получил восемь лет, потом четыре за неудачный побег, как он рассказывал, но всего провел шесть - началась десталинизация, по первому делу он был реабилитирован, по второму амнистирован, закончил университет и стал работать как экономист в одном из исследовательских институтов. Внутренне он никогда не мог примириться с этим режимом и, когда услышал о Павле, сразу разыскал его. Еще до прихода в Движение вокруг Красина сформировался небольшой кружок из его друзей по лагерю. История одного из них - Бориса Ратновского - очень характерна для последних лет сталинской эпохи. Он был арестован за участие в "антисоветском обществе", состоящем из самого Ратновского и двенадцати осведомителей, которые на нем отработывали свой горький хлеб. Один из них разыгрывал роль связного между Ратновским и "Нью-Йорк Таймс", для нее Ратновский писал статьи о советском сельском хозяйстве. "Скорее, в редакции ждут!" - торопил его "связной", и Ратновский лихорадочно списывал страницу за страницей о тяжелом положении колхозников, чтобы "Таймс" вышла в срок. Статьи шли на стол следователю - и послужили основанием для смертного приговора. По счастью, ему не было еще восемнадцати лет - и расстрел заменили двадцатью пятью годами. В 1956 году он был реабилитирован. Когда умер президент Эйзенхауэр, в посольстве США установили книгу соболезнований и Брежнев расписался в ней, - вспомнив былые связи с "Нью-Йорк Таймс", Ратновский вслед за Брежневым решил отдать последний долг американскому президенту. - Куда? Зачем? - остановил его милиционер при входе. - Расписаться в траурной книге почетных посетителей, - отвечал Ратновский, в потертой шапочке и пальто без пуговиц, пожалуй, мало похожий на почетного посетителя. - Давайте паспорт, - сказал милиционер. - Еврей? - Еврей, - сокрушенно ответил Ратновский, и милиционер пошел в будку звонить. Рядом уже стояла группка в штатском, ожидая знака. Через четверть часа с растерянным лицом милиционер появился: "Проходите!" Ратновский вошел на трясущихся ногах - и тут самое страшное: раздался металлический лязг, стук прикладов и каблуков - двое рослых морских пехотинцев взяли на караул при входе в зал почетного гостя, у него чуть сердце не выскочило. "Что было дальше, я не помню, расписался я в этой проклятой книге или нет", - рассказывал он потом. Вскоре и Павел начал устраивать у себя еженедельные сборища - назову их условно "пятницы": комната была забита людьми, стояли кучками, разговаривая и передавая друг другу машинописные бумажки, и тут же, уткнувшись в них носом, читали, так что по комнате шел шорох от бумажных листков. Здесь я познакомился с крымскими

татарами. В 1944 году весь крымскотатарский народ, включая грудных детей, был депортирован в Среднюю Азию по обвинению в "сотрудничестве" с немцами, туда же отправили и татар, демобилизованных после войны. В 1956 году был принят указ, "реабилитировавший" народ, но, в отличие от таких же высланных кавказских народов, не разрешивший возвращения на родину. Сыграли, по-видимому, роль противодействие украинского партийного руководства, на которое тогда опирался Хрущев в борьбе за власть, а также то, что в отличие от кавказцев крымские татары сразу не двинулись стихийно, народ они вообще более трудолюбивый и мирный, чем, скажем, чечены, так что и узбекские власти более были заинтересованы их удержать. Но постепенно Движение за возвращение в Крым вовлекло несколько сот тысяч человек, поданы были тысячи петиций, сотни людей арестованы - и только десяткам удалось возвратиться. При этом дело шло не о выезде из СССР, как для евреев и волжских немцев, а о переезде из одной части страны в другую людей, формально пользующихся правами советских граждан. Выселение татар и запрещение им вернуться - акция, направленная против целого народа, она сопровождалась физическим уничтожением половины народа, лишением его имени, крымских татар превратили в просто татар, лишением школ, книг и газет на родном языке. Однако вопрос о геноциде ни разу не был поднят ни в одной международной организации, и ни одна мусульманская страна ничего не сделала для своих братьев. Крымские татары ведут борьбу мирными средствами: переезжают в Крым, где их ловят и высылают, проводят мирные демонстрации, которые разгоняют войсками, обращаются с верноподданническими петициями, заполненными словами о "великой партии Ленина", на которые не получают ответа. Меня удивляло их терпение, казалось, что если бы часть крымских татар перешла к тактике террора, скажем, к угону самолетов, то власти пошли бы на уступки, как они разрешили еврейскую эмиграцию после попытки угона самолета Кузнецовым и Дымшицем в 1970 году. Часть татар, особенно молодые, стала присоединяться к Демократическому движению, рассчитывая на большую гласность. Одной из их болезненных проблем была нехватка национальной интеллигенции - кроме физика, врача и двух инженеров я встречал только бульдозеристов, трактористок и шоферов, которые приезжали из Средней Азии со следами въевшегося в кожу мазута и с написанными корявым почерком заявлениями. У Павла стали появляться люди, служившие как бы мостом между диссидентами и сионистами. Движение за выезд евреев существовало со времени образования государства Израиль, но влачило жалкое существование, пока шестидневная война 1967 года и Демократическое движение 1968 года не дали ему новый толчок. Я хорошо помню седого и светлого Юлиуса Телесина, размножавшего и распространявшего самиздат, от изданных за границей романов Солженицына до записей своих допросов в КГБ. Читая эти протоколы - а Телесин распространял их в неимоверном количестве, - невольно пожалеешь бедных следователей, он нумеровал все заявления, допросы, вопросы следователя и свои ответы, и на вопрос следователя: "Давали ли вы для прочтения и если давали, то кому, ваше заявление No 3?" - Юлиус отвечал: "Ответом на ваш вопрос No 9 может служить мой ответ No 7", - так что к концу допроса ни следователь, ни Телесин, ни тем более читатель протокола не могли понять, что на что является ответом. В 1969 году московские сионисты, составляя письмо с требованием свободного выезда в Израиль, собрали 39 подписей, а хотелось, видимо, равное число, и тут кто-то вспомнил о Телесине. Участвуя в Демократическом движении, он подписал уже столько заявлений, что одним больше, одним меньше казалось ему совершенно все равно. Каково же было его удивление и негодование заслуженных сионистов, когда через несколько дней в "Известиях" появилась статья, называющая Телесина руководителем сионистов, вскоре он одним из первых получил разрешение выехать в Израиль. Павел Литвинов был плохим организатором, не знаю, умел ли он вообще доводить что-нибудь до конца, но благодаря своей благожелательности, открытости, здравому смыслу, смелости и отсутствию болезненного самолюбия смог стать центром, к которому стягивались люди, казалось бы, несовместимые, разного возраста, мировоззрения, интересов, опыта - я вспоминаю генерала Григоренко, с удивлением оглядывающегося среди

наших странных картин. Неверно было бы сказать, что всех объединяло негативное отношение к режиму, объединяла - хотя это не было еще ясно сформулировано - вера в права человека, в достоинство человеческой личности, к этому подводил и опыт привыкшего к дисциплине коммуниста генерала Григоренко, и опыт требующего творческой свободы индивидуалиста писателя Амальрика. Но еще нужен был человек, которого мы все считали бы своим, - Павел и сыграл такую роль. Неверно было бы и сказать, что все вечера у него проходили за чтением бумажек, - впоследствии следователь Акимов, специалист по диссидентам, говорила одному из своих друзей: "Ты не думай, что они святые! Они водку пьют, и бабы у них есть!" В апреле 1968 года - когда волна петиций стала падать, а волна репрессий подниматься - Павел принес мне несколько листов папиросной бумаги с подслеповатым машинописным текстом: черновик первого номера журнала "Год прав человека в Советском Союзе" с подзаголовком "Хроника текущих событий" постепенно "Хроника" стала названием журнала, а "Год прав человека в СССР продолжается" или "Борьба за права человека в СССР продолжается" - его девизом, вроде "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" у "Правды" или "Все факты, достойные опубликования" у "Нью-Йорк Таймс". Название было взято сознательно или бессознательно - из русских передач Би-Би-Си, есть ежедневная программа "Хроника текущих событий: глядя из Лондона". Наша "Хроника" была задумана как изложение - раз в два месяца - фактов о нарушении прав человека: о судах, арестах, обысках. Я посоветовал тон сделать менее эмоциональным и менее оценочным, пусть факты говорят сами за себя; за редким исключением все годы "Хроника" придерживалась этого стиля. Все мое сотрудничество с "Хроникой" - вопреки утверждениям КГБ исчерпывалось этим советом, немногими сведениями, которые я туда передал, поправками к третьему выпуску да еще тем, что первые номера я переслал за границу для радиотрансляции на СССР. По традиции "Хроника" выходит анонимно, и считалось ненужным говорить о ее редакторах. Она существует более десяти лет - случай для подцензурного журнала в СССР уникальный. В 1972 году КГБ заявил, что после каждого выпуска "Хроники" будет арестовывать одного человека, не обязательно связанного с выпуском, - издание приостановилось, но через год возобновилось. "Дальнейшее молчание означало бы поддержку пусть косвенную и пассивную - "тактики заложников", несовместимой с правом, моралью и достоинством человека", - писали издатели "Хроники". В первом номере был отчет о суде в Ленинграде над членами ВСХСОН Всероссийского социал-христианского союза освобождения народа, так мы узнали о существовании оппозиции, совершенно иной по целям и методам, чем наша. Речь шла о законспирированной организации, которая ставила своей задачей через пятнадцать - двадцать лет захват власти и создание нечто вроде теократического государства на христианской основе. В 1977 году я познакомился с "начальником идеологического отдела" этого Союза Евгением Вагиным, пробывшим восемь лет в заключении. На мой вопрос, что же они собирались делать с мусульманскими народами России, он только пожал плечами. На вопрос нам обоим, какой мы национальности, я пространно начал объяснять, что один мой предок был француз, другой русский, третий украинец, четвертый швед, пятый цыган, Вагин же ответил кратко: "Я русский православный". Смешение "нации" и "религии" произошло, по-моему, и в группе, которая сформировалась вокруг журнала "Вече" - в отличие от ВСХСОН легально и открыто. С будущим редактором этого журнала Владимиром Осиповым я познакомился, когда он вернулся из лагеря после семи лет, сейчас он снова в лагере с восьмилетним сроком. Когда он предложил мне написать статью для его "христианско-патриотического журнала", я ответил, что, по-моему, христианский и патриотический - несовместимые понятия, Христос не говорил: я сын евреев или я сын русских, он сказал: я сын человеческий. Идея "Бога русских" более напоминает иудаизм, чем христианство, и в глубокой основе нелюбви русских к евреям лежит чувство, что не место на земле двум мессианским народам. Те же "патриоты", которые видят, что, сколько не "русифицируй" христианство, его общечеловечность неустранима, начали говорить о возврате к русскому язычеству. Когда предлагается некая философия, имеющая целью не

только объяснить мир, но, говоря словами Маркса, его переделать, когда создается некая социальная программа, имеющая воплотиться в более или менее туманном будущем, всегда интересно изучить эту программу не только как вещь в себе, но и посмотреть, какие ее стороны при соприкосновении с грубой действительностью имеют шансы на успех. Очень благородная в своей основе философия славянофилов на практике выродилась в "Союз русского народа" с его узостью, черносотенной программой и еврейскими погромами; на пути к этому славянофильство сумело исказить крестьянскую реформу, так что община не была разрушена и крестьянин остался полуперсоной - а отсюда и ужасы крестьянского бунта. Я сильно боюсь, что "неославянофильство" - во всех его умеренных и экстремистских разновидностях - постигнет та же участь, в силу того, что народ, масса или история - назовите это, как хотите - будут делать свой низменный отбор из предложенной им возвышенной теории. Я не выступаю против религии или против нации; Но я понимаю религию как связь человека с Богом, а не как политическую философию и идеологию. Церковь может влиять на общество нравственным примером, но как только она хочет стать политической партией - единственной или в ряду многих, - она уже не церковь. Принадлежность к народу, к национальной культуре и сознание связи со своей страной - настолько естественны, что немногие мыслимы вне этого. Но когда "национализм" из естественного чувства становится политической категорией - это прямой путь к авторитарным и тоталитарным режимам, вы становитесь не просто русским или немцем по вашему рождению и культуре, но членом "русской нации" или "немецкой нации". Национализм малых народов понятен как средство защиты себя как народа и своей культуры, хотя и в этих случаях он иногда принимает отталкивающие формы. Но национализм великого народа - это средство не защиты, а давления и внутрь, и вовне. При этом националистические лозунги всегда могут рассчитывать на популярность, требуя следования по линии наименьшего сопротивления: одним фактом своего рождения русским или немцем вы можете идентифицировать себя со всепобеждающей политической доктриной и тем самым придать себе значимость. Возникновение ВСХСОН - с его отрицанием марксистского тоталитаризма и либерального парламентаризма - хорошо показывает, что общественная мысль в Советском Союзе после периода замороженности начинает биться над теми же проблемами, что и русская эмиграция первых пореволюционных лет. В обоих случаях заметно стремление к новой идеологии, понимание, что если марксизм возник как реакция на западное либеральное общество, то преодоление марксизма едва ли возможно простым возвратом к идеалам либерализма. Но мне не менее важным кажется не где марксизм возник как идеология, а где он реально воплотился: как раз в обществах с сильными пережитками феодализма, и большевизм был явлением очень русским, а не случайным для России - поэтому в своей ставке на национализм и НТС, и ВСХСОН, стремясь вперед, тянули назад, они подходили к действительно новой идеологии, но чувство национального оправдания вело в другую сторону. По-видимому, новая идеология потребует найти правильный баланс между неделимыми правами человека, социальной группы, нации и всего человечества. Иностранцы подчеркивают сильную привязанность русских к своей стране, аффектированный патриотизм - мы не скажем, как англичане, "эта страна", но "Родина". Но у меня аффектация вызывает недоверие, опыт показал, что те, кто выставляет любовь к родине или веру в Бога как медаль на груди, часто оказываются людьми ненадежными. Патриотизм доходит до того, что лазерный луч называют лучом Лазарева, но один из компонентов этого патриотизма - не чувство спокойной гордости за свою страну и не самоуважение при мысли, что мы - русские, а скорее чувство ущемленности: да, мы отсталые, бедные, несвободные, грубые, грязные, варвары и т. д. и т. п., но зато

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя

мы несем миру великие духовные ценности - безразлично, православный ли это мессианизм или марксистско-ленинский, это с одной стороны, а с другой

От Урала до Дуная,
до большой реки,
колыхаясь и сверкая,
движутся полки

мы - это сила, презирайте нас, сколько хотите, живите лучше нас, но мы вам покажем, мы вас сомнем нашей силой - а сила всегда права. Отсюда и любовь народа к власти как символу этой силы. Изоляция порождает в народе не только чувство взаимосвязанности, но и ксенофобию - не всегда легко различить, где граница между "естественной ксенофобией" и насаждаемой властью "искусственной". Русские с молоком матери впитывают настороженность к немцам, но ненависть к немцам, которая существует сейчас, - результат антинемецкой пропаганды. Власть поддерживает в народе деление на "мы" и "они" - русские и иностранцы, - но парадокс в том, что отношение народа к власти - это тоже "мы" и "они". И наступают моменты, когда проявляется амбивалентность патриотизма, построенного на сознании силы: власть утрачивает силу - и любовь к родине ослабевает, оказывается, была лояльность к власти, а не к стране. Можно привести два характерных примера, связанных со все теми же немцами я их здесь употребляю как бы в виде учебного пособия. Первый пример: массовое дезертирство и открытие фронта немцам в 1917-18 годах, по существу весь рядовой состав армии, т. е. народ, показал нежелание защищать Россию, ибо ее "власть" уже не была "силой". Второй пример: массовая сдача в плен немцам в 1941-42 годах, приветствие их хлебом-солью, многомиллионная коллаборация с врагом, который не скрывал своей цели уничтожения народа, тогда многим казалось, что "власть" не имеет силы противостоять немцам. "Мы" и "они" - русские и иностранцы - и "мы" и "они" - народ и власть вступают друг с другом в конфликт и в вопросе с русскими диссидентами, ибо диссиденты, начиная с князя Курбского и кончая Солженицыным, обращаются к загранице, через заграницу или из-за границы. Власти стараются все время обыграть это, даже преувеличить, но видно, что в целом они терпят здесь поражение. Характерен пример Ленина - он не только долгие годы жил за границей и к загранице апеллировал, но и открыто презирал русский патриотизм, желал поражения России в войне с Германией, взял у немцев деньги, был изображен русской прессой как "немецкий агент", заключил с немцами самый унижительный мир - и стал на долгие годы символом национального величия России. Не удается эта тактика власти и в отношении Демократического движения, хотя диссидентов пытаются представить или как иностранных агентов, или как недалеких тщеславных людей, которых иностранцы используют. Не могу сказать, что я никогда не встречал к себе неприязни из-за того, что я диссидент, но гораздо чаще интерес и сочувствие. "Вы напрасно стараетесь, - сказал мне как-то офицер милиции, - вы же видите, как народ легко впитывает советскую пропаганду и принимает все как должное". "Ну что же, - ответил я, - сама легкость, с которой все принимается, говорит, что они с такой же легкостью примут все, что идет от нас". Неприязнь народа к загранице во многом основана на страхе, что иностранцы отнесутся с презрением к русским, и сам факт, что диссиденты нашли с иностранцами общий язык, скорее повышает шансы Демократического движения. По версии КГБ, термин "Демократическое движение" был придуман НТС и "заброшен" в СССР, Павел Литвинов говорил мне позднее, что этот термин предложил я сам в начале 1968 года. Существовал какое-то время термин "Движение 5 декабря", предложенный Есениным-Вольпиным, одним из организаторов первой демонстрации на Пушкинской площади 5 декабря 1965 года под лозунгом "Уважайте конституцию - основной закон СССР!". В 1973 году Андрей Сахаров сказал, что в сущности Движения нет, поскольку нет политической цели, например борьбы за власть. Но если нет политической цели, это не значит, что нет движения, - значит, нет политического движения, но может быть моральное, например. Если группа людей ставит себе общие цели - такие цели хорошо сформулировал сам Сахаров: политическая амнистия, свобода слова, собраний, ассоциаций, въезда и выезда из страны, координирует свою деятельность и выражает при

этом интересы части общества, то мы можем говорить о Движении. С 1973 года его стали называть Движением за права человека - такая замена точнее отвечала его сути в то время. Многим участникам Движения было неприятно слово "политика": оно связывалось со злом, которое принесла политика в мир. Отвращение к пронизывающей советское общество "политизации", желание быть не "за" или "против", но вообще вне политики понятны - но, увы, к тем, кто хотел отбросить всякую "политическую идеологию", она подползала с другой стороны: их "морализм", заполняя политический вакуум, постепенно превращался в религиозно-националистическую идеологию, иногда с элементами вождизма. Политика отвергалась и по соображениям безопасности: мы не посягаем на вашу власть - и вы нас не троньте. Но в обществе, где термин "аполитичный" применялся как негативная политическая дефиниция, любая не контролируемая государством активность рассматривается как политическая: даже художники, устраивающие без разрешения выставку, или поэты, читающие заранее не одобренные стихи, бросают вызов государству, так что желание сузить претензии политики уже было политическим. С 1968 года инакомыслящие - хотя и не всегда четко - делились на "политиков" и "моралистов": на тех, кто думал о Движении как о зародыше политической партии и хотел выработать программу политических и социально-экономических преобразований, и на тех, кто хотел стоять на позициях морального непризнания и неучастия в зле режима. Деление условно, поскольку каждый был на какую-то долю моралист и на какую-то политик. Даже Сахаров, в своих обращениях к властям предлагая программу социально-экономических изменений и критикуя разрядку, выступал в роли политика. "Политики" не выступали за немедленное создание "партии" и торжественное принятие "программы". Когда кто-то предложил Петру Григоренко организовать партию и даже заранее распределить места в правительстве, мы подумали, что это или провокатор, или человек не совсем нормальный. Но в обществе чувствовалась потребность идеологической альтернативы, неоднократно участников Движения спрашивали: какова ваша программа? Павел Литвинов, смеясь, рассказывал, как его рабочий спросил: что вы будете делать с заводами? Когда им отвечали о моральном сопротивлении, они только плечами пожимали. Конечно, на их пожатие плечами можно тоже пожать плечами, ибо задача возвращения людям чувства собственного достоинства, которую ставило Движение, сама по себе огромна и есть условие справедливого общества. Однако было ясно, что если мы не ответим на вопрос, каким должно быть наше общество, ответят те, кто хочет перетащить нас из одной тоталитарной ямы в другую. Водораздел между "политиками" и "моралистами" есть водораздел между теми, кто не верит в прочность системы, считает, что рано или поздно она развалится и нужно заранее думать о путях ее более или менее безболезненной перестройки, и теми, кто считает, что система прочна и неизменна, будет существовать если не вечно, то достаточно долго, и в лучшем случае моральное противостояние - которое есть прежде всего акт личного неучастия - сможет несколько смягчить ее. Взгляд на возможности русской оппозиции вытекает из общего взгляда на русскую историю - не только мы глядим "изнутри", но и на нас глядят "снаружи". При самом критическом взгляде я не считаю русских "безнадежным народом", для которого рабство есть "естественная" форма существования, как полагают сенатор Фулбрайт или профессор Киссинджер. Если бы я считал так, мне не оставалось бы ничего другого, как молчать или отказаться от того, что я русский. Но я достаточно ясно вижу, как под авторитарным потоком русской истории прослеживается то сильное, то слабое течение правосознания и в какие-то периоды выходит на поверхность как политическая сила - в Новгородской республике, в реформах Александра II, в Государственной думе. Очевидно, альтернатива есть и сейчас - но ее достижению должен предшествовать безжалостный анализ самих себя, анатомическое расчленение нашего прошлого и настоящего. Дебатировался также вопрос, можно и нужно ли придать возникающему движению какие-то организационные формы. Красин сказал, что стоит организовать какой-нибудь комитет, он тут же в полном составе будет арестован, я ответил, что власти скорее всего будут его игнорировать и только постепенно его члены окажутся в тюрьме под разными предлогами - я

оказался прав. Для обсуждения этого Петр Григоренко, Лариса Богораз, Анатолий Марченко, Павел Литвинов, Виктор Красин, Петр Якир и я в начале июля поехали на дачу к Алексею Костерину. Едва мы по дороге расположились на берегу канала, как увидели: в небольшом отдалении человек стертого вида независимо прогуливается, на разные лады поглаживая затылок; в эту доиндустриальную эпоху у филеров еще не было транзисторов и употреблялся такой первобытный способ передачи сигналов. Я предложил создать Комитет защиты советской конституции - лицемерная "сталинская конституция" содержала статьи о свободе слова, собраний, демонстраций и т. д. и могла служить юридическим прикрытием для комитета; идея использования "снизу" того, что "наверху" рассматривалось как не более чем декоративное украшение суровой действительности, была реализована семь лет спустя созданием Группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений. Я предлагал далее структуру трехслойного пирога: средний слой - наиболее известные участники Движения, такие как Григоренко или Литвинов, вошли бы в Комитет; верхний слой - те академики, писатели, режиссеры, кто относился к нам с симпатией и еще не был напуган, поддерживали бы Комитет своим авторитетом; нижний слой - неизвестные участники Движения выполняли бы значительную часть практической работы и дублировали бы членов Комитета в случае их ареста. Все это было лишь формализацией реально сложившегося положения, но ставило задачу выработки и объявления программы. После долгих споров никакого решения принято не было - трудно было преодолеть воспитанный советским режимом страх перед словом "организация". Книгу Марченко "Мои показания" я прочел за полгода до встречи с ним. Марченко родился в семье рабочих в маленьком сибирском городе, родители его были неграмотны, он работал буровым мастером, пока совсем молодым не попал в тюрьму за драку в общежитии. Я видел впоследствии, как для многих молодых ребят лагерь становится политической школой неприятия этого режима, если только у них было чувство человеческого достоинства. Марченко скоро получил политическую статью и провел шесть лет в лагере в Мордовии и во Владимирской тюрьме, которые простым языком описал в своей ките. Многие в ней подтверждали мою мысль, что народ ищет идеологию, которую можно противопоставить официальной, трудно стоять только на позициях отрицания и ненависти. Алексей Евграфович Костерин провел в тюрьмах и лагерях больший срок, чем Марченко, он начал еще до революции, вступив в большевистскую партию, но главным образом сидел при Сталине. После реабилитации он много сил тратил на борьбу за права малых народов, через него установилась связь и с крымскими татарами. Он оказал большое влияние на Петра Григоренко, и оба они обращались неоднократно и в ЦК КПСС, и к международным коммунистическим совещаниям - всегда без ответа. К совещанию компартий в Будапеште они написали огромное письмо и еще каждый по маленькому от себя лично, в которых представляли друг друга в выражениях самых трогательных: "Костерин - это замечательный человек, честный, сердечный" и т. д. - и Костерин то же самое о Григоренко, но такой уж в Будапеште собрался твердокаменный народ, что сердца их это не тронуло. Костерин очень интересно рассказывал о тридцатых годах, но когда коснулось нашего проекта, стал предлагать создание нечто вроде общества пенсионеров, сидевших в свое время в лагерях. Мне трудно судить, что осталось в Костерине от его большевизма после всего, что он испытал. Перед смертью он был исключен из Союза писателей и из партии за то, что после вторжения советских войск в Чехословакию потребовал исключить из партии Брежнева. Мне еще приходилось встречаться со старыми большевиками, прошедшими много лет в лагерях - причем не с теми, кто твердил, что партия не ошиблась, но кто хотел содействовать демократическим переменам. Убеждения большевиков были убеждениями людей без скепсиса, даваемого культурой, нечто вроде религиозных убеждений, на которые опыт, конечно, влияет, но мало - всему находится объяснение в рамках самой религии. Их честность, их личный опыт учили их терпимости, тому, что оптимальное решение складывается из сопоставления разных взглядов, их философия учила их, что истина едина и тот, кто ею обладает, может отвергать все другое; для примирения этих точек зрения они строили такие же сложные исторические и нравственные концепции,

как астрономы, стремящиеся объяснить движение планет, исходя из птоломеевского геоцентризма. Сергей Писарев, старый большевик, партаппаратчик, получил при Сталине два срока и переломанный позвоночник - но когда речь зашла о Ленине, он стал уверять меня, что тот был образцом терпимости, допускал высказывание любых мнений, и никак не мог поверить, что Ленин приказал выслать в 1922 году группу ученых как немарксистов - в сущности, это было тоже проявление терпимости, поскольку их можно было просто расстрелять. Сама шкала ценностей Писарева была своеобразна: зачем людей преследуют за убеждения? - с одной стороны, а с другой - зачем "драчку" между Наполеоном I и Александром I называют "отечественной войной"? Да Бог с ним, с Александром I, думал я, "он взял Париж, он основал Лицей", кому он мешает! Партию, насчитывающую пятнадцать миллионов, нужно, по мнению Писарева, сократить раз в сто - чтобы члены ее никакой практической роли не играли, а были только безупречными носителями истинной идеологии. - Это что же, вроде монашеского ордена? - Да, как монашеский орден, - отвечает Писарев, маленький, с волосами ежиком, и глядит на меня напряженными глазами из-под очков. Мы стоим уже в дверях его холостяцкой квартиры, и я отчетливо слышу, как стекает в уборной струйка воды. - Пойдете по коридору, держитесь ближе к стене, - говорит он мне вслед, а то меня упрекают, что мои гости пачкают ковровую дорожку. Не иначе как у него был Красин, думаю я, уходя по коридору. С середины марта начались увольнения с работы и исключения из партии тех, кто подписывал письма в защиту Галанскова и Гинзбурга, а также публичные собрания с осуждением "подписантов". "Подписанты" ссылались на гуманизм, и на московской партконференции писатель Сергей Михалков дал понос определение этого понятия. "Без устали ненавидеть врагов - вот гуманизм!" - сказал он под аплодисменты присутствующих. Брежнев подчеркнул на конференции, что "отщепенцы не могут рассчитывать на безнаказанность". Тем не менее инициатива еще находилась в руках диссидентов. Правда, чувствовалась растерянность, "петиции" циркулировали во все сужающемся круге, и неясно было, что делать, но фоном движения были события в Чехословакии, и пока процесс либерализации там развивался, и мы жили надеждой. Власти это хорошо понимали, тон газет становился все более угрожающим, и когда появилась маленькая заметка о якобы обнаруженном складе западногерманского оружия в Чехословакии, здравомыслящий человек мог понять, что интервенция неминуема. Но не так легко хоронить свои надежды. В конце июля Костерин, Писарев, Григоренко, Яхимович и Павленчук - пять коммунистов, первый из которых вступил в партию в 1916-м, а последний в 1963 году, - сделали заявление, что они приветствуют развитие событий в Чехословакии и считают советскую интервенцию невозможной. Конечно, Петр Григорьевич, как бывший генерал, считал интервенцию вполне возможной, но рассчитывал на сопротивление чехословаков. "Я знаю наших, - говорил он, они попрут напрямик через горы, и тут их можно будет надолго задержать". Увы, все оказалось не так. Григоренко и приехавший из Латвии Яхимович решили передать это заявление в посольство Чехословакии, мы с Гюзель сделали плакат с надписями по-русски и по-чешски, похожий на лопату для расчистки снега, но наш связной подвел нас, и они вошли в посольство без плаката, зато генерал при всех орденах. Как и я, советник посольства принял его за сталиниста: "Не беспокойтесь, ЧССР останется коммунистической и верной дружбе с СССР", - на что Петр Григоренко ответил: "Не беспокойтесь вы тоже, мы за вас". Обрадованный советник взял их заявление и открытое письмо Анатолия Марченко, и оба вышли из посольства беспрепятственно, сфотографированные при выходе Карелом Ван хет Реве на фоне высаженных у братского посольства деревьев. За деревьями уже ходило несколько людей, носящих свои неприметные костюмы, как будто это театральные реквизиты. - Служите? - спросил один из нас. - Служим! - охотно отозвался один из них. Через несколько дней мне позвонил Павел и попросил срочно приехать к Ларисе Богораз - оказалось, только что арестован Анатолий Марченко. Период выжидания со стороны власти кончился.

Глава 6. 21 АВГУСТА 1968 ГОДА

Передавая заявления и статьи за границу, мы считали, что только так можно добиться

гласности и избежать оскорбительного контроля государства. Мы преследовали двоякую роль: во-первых, лучше показать всему миру действительное положение вещей в СССР; во-вторых, - и это казалось нам наиболее важным - через западное радио познакомить с нашими документами собственный народ, и это нам удалось. Вопреки разрядке и благодаря возникновению независимого общественного мнения в СССР, число слушателей иностранного радио возросло в несколько раз - людям было интересно слушать о том, что происходит у них в стране и о чем не пишут советские газеты; со временем это вынудило власти постоянно публиковать статьи о диссидентах. Конечно, мы не могли инструктировать западные газеты и станции, как им наши материалы подавать - сначала западным читателям, потом советским слушателям; также они периодически концентрировали внимание на тех или иных фигурах, иногда по причинам, к Движению за права человека отношения не имеющим, тем самым оказывая на Движение косвенное влияние. В начале 1968 года наибольшее внимание привлекали Павел Литвинов, Лариса Богораз, Петр Григоренко и Петр Якир. Красин, оказавшийся как бы на вторых ролях, был уязвлен этим, был он вообще человек, склонный уязвляться. До того как переписка Павла была поставлена под наблюдение, он получал много писем от советских слушателей: как за - примерно 3/4, так и против примерно 1/4, часть писем пришла не по почте, а была кем-то брошена в ящик. Вскоре КГБ спохватился: не только стали изымать в почтовых отделениях письма известным диссидентам, но и справочные бюро получили указание не давать их адресов. Среди подброшенных Павлу писем была по крайней мере одна фальшивка КГБ - составленное путем неуклюжей имитации заявление "группы студентов" о создании новой партии. Сборник этих писем - пока что единственный, представляющий реакцию рядовых советских граждан на Движение, - был нами подготовлен к печати и вышел на нескольких языках. Было несколько писем с матерными ругательствами, одно, судя по служебному штампу, из КГБ, начиналось словами: "Зачем, жидовская морда, позоришь память своего деда!" - Павел не знал, кому ответить, что он "жидовская морда" как раз из-за деда-жида, Максима Литвинова. Очень смешно писал гебист-пенсионер: "Кто это такие "мы требуем!""? Вы - не более чем козявка, но и козявка может издавать зловоние", - и, даже назначал Павлу срок двенадцать лет. Когда Карел просматривал рукопись, он спросил, что это за точки везде расставлены. Я ответил, что это разные непечатные слона. "Ну, мы готовим научное издание, все слова должны быть на месте" - и мне пришлось еще сидеть над рукописью и своей рукой вписывать все слова. Би-Би-Си сделала передачу по книге и получила гневное письмо от одного слушателя, может быть, даже того, кто сам писал эти слова Павлу. Би-Би-Си ответила, что не она их придумала и Литвинову адресовала. "Белой книгой" Гинзбург начал традицию документальных сборников о политических процессах, вслед за ним Литвинов с помощью Горбаневской составил сборник о процессах Буковского и Хаустова. Казалось важным составить такой же сборник и о деле Галанскова и Гинзбурга, и Павел начал собирать материалы. Я торопил его, опасаясь обысков и арестов, и с июня сам засел за систематизацию и перепечатку материалов, составление вводных статей и именного указателя. Кивая на указатель, Карел обычно говорил; "Я всегда думал, что ты работаешь на органы". Павла арестовали в августе, а в октябре я работу закончил. Мне очень помогли Маруся Рубина, перепечатавшая часть сборника, и Юлиус Телесин, собравший статьи из советских газет. Однако я встретил оппозицию в лице Арины Гинзбург, Ольги Галансковой и Натальи Горбаневской: первая боялась, что выход сборника затруднит ее связь с мужем в лагере, вторая - за саму себя, чувство, я бы сказал, вполне естественное, а третья - что это отразится на Павле, который был уже в сибирской ссылке. В отличие от "Хроники", сборники выходили с именем составителя, и нам с Павлом не хотелось от этой традиции отступать. Сначала он предлагал, чтобы сборник вышел под нашей общей редакцией, но я не хотел этого, ведь КГБ, заинтересованный в "групповых делах", пытался доказать, что и "Белую книгу" Гинзбург и Галансков делали совместно, а те от этого отреклись. Я считал, что лучше всего сборник выпустить под редакцией Литвинова, поскольку он был известен и это могло способствовать публикации; то, что он сидит в тюрьме, скорее значило,

что сборник "проскочит" для него без последствий все равно, мол, он свое уже получил! Если Павел откажется, я решил выпускать под своей фамилией, но он - из Лефортовской тюрьмы, где мне удалось запросить его, - дал свое согласие. Потом я послал ему экземпляр на просмотр в Сибирь, а затем переслал "Процесс четырех" Карелу. Я оказался прав: никаких последствий это для Павла не имело. Самую важную из переданных мной в то время за границу рукописей я получил от Павла в конце июня - это были "Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе" академика Андрея Сахарова. Написав статью в начале 1967 года, в течение полутора лет Сахаров возвращался к ней - по-видимому, для него было не просто сделать решительный шаг и передать ее в самиздат. Может быть, им самим это сознавалось не совсем ясно как диссидентом-новичком, но это был разрыв с научным истеблишментом, высокое положение в котором он занимал, и со всей системой, частью которой был этот истеблишмент. В Движении за права человека в СССР - с разной степенью активности участвовало много ученых-естественников. Это объясняется тем, что ученый склонен подвергать все факты объективному анализу и не дает себя поймать в мифологические ловушки, в которые ловится средний "советский человек", в своей работе ученый мало зависит от государственной идеологии, но государство прямо зависит от результатов его труда. Это не значит, конечно, что большинство ученых - диссиденты, хотя бы тайные, преобладают настроения аполитичности: делайте вы там что хотите, а я буду заниматься наукой; глядя более объективно, это - позволение манипулировать собой, когда это понадобится власти. Скажем, подпись под письмом за Сахарова - поступок политический, под письмом против - проявление аполитичности. Ученых убеждали так: если вы подпишетесь под письмом против Сахарова, вы получите иностранное оборудование для вашей лаборатории. Не я, так другой, думает ученый, Сахарова мой отказ не спасет, а оборудование может достаться прохвосту, уж лучше пусть пойдет для науки. Конечно, среди ученых преобладают прагматики - произойди поворот к лучшему, он будет ими поддержан, но мало надежды на проявление инициативы с их стороны или на то, что они будут принимать во внимание нравственные категории. Произошло постепенное изменение самого типа ученого. Старый тип формировался в академической среде, жившей еще дореволюционными традициями чистой науки, научной этики и данных Господом Богом нравственных принципов, и хотя за ленинско-сталинские годы эта этика со всеми принципами, вместе взятыми, были значительно пообщипаны, при первой же передышке ученые постарались к ним вернуться - академик Михаил Леонтович, например, подписавший несколько писем в защиту осужденных. Новый тип сформировался в научно-бюрократической среде, живущей в симбиозе с партийно-бюрократической, - тип, делающий не карьеру в науке, а карьеру через науку - академик Николай Шило, например, который еще появится на этих печальных страницах. Ученый второго типа может быть великолепным специалистом и даже творцом, но безнравственным - и потому не поверю, чтоб великим. И по своему возрасту, и по особенностям своей научной карьеры - участие в создании водородной бомбы - Сахаров должен был бы принадлежать ко второму типу, и то, что он не принадлежал к нему, действительно чудо. Но разве не чудо, что возглавлявший кафедру в поенной академии генерал-майор стал наиболее активным диссидентом? Эта трещина в истеблишменте - а я беру только два наиболее ярких примера - была показателем глубоких геологических сдвигов в самой толще советской структуры: в статье Сахарова меня больше всего потрясло не что написано, а кем написано. То, что статья попала к нам, значило, что автор не возражает против дальнейшего распространения: я тут же передал статью Карелу, и 6 июля она впервые появилась в амстердамской газете "Хет Пароль". Карел предложил ее московскому бюро ЮПИ, но, как я писал, г-н Шапиро пришел в ужас, и Карел передал ее корреспонденту "Нью-Йорк Таймс" Раймонду Андерсону. Оба номера "Хет Пароль" со статьей у меня сохранились, и, вернувшись из ссылки, я подарил их Андрею Дмитриевичу на день рождения. Летом этого года большинство моих товарищей жили только тем, что происходило в России и в Чехословакии, я же со все большей горечью следил за событиями в Африке. Становилось очевидным, что война за независимость, начатая Биафрой, кончится

поражением и, как я боялся, уничтожением народа ибо. Я всегда испытывал чувство протеста, видя, как большинство пытается навязать волю меньшинству, право малого народа на самоопределение казалось мне выше любых геополитических соображений, искусственно проведенных границ или имперских интересов. Тяжелое впечатление на Гюзель и меня производило, что из-за блокады в Биафре ежедневно умирало три тысячи детей. И СССР, и Великобритания поддерживали Нигерию, и для меня это было одним из примеров сотрудничества советского коммунизма с западной реакцией для поддержания мнимого статус кво в мире. Конечно, молодой и энергичный советский колониализм шел на такую кооперацию только там, где это отвечало его интересам, тогда как старческий английский ковылял по проторенной дорожке. Я предложил Гюзель вдвоем провести демонстрацию перед английским посольством в Москве. Мы следовали примеру Юры Галанскова, три года назад пикетировавшего американское посольство, и одновременно хотели показать диссидентам, что для проведения политической акции не обязательно пятьсот или хотя бы пятьдесят человек. Я распечатал на машинке полсотни листовок, и мы сделали два плаката с надписями по-русски и по-английски: "Говон убивает детей! Вильсон, не помогайте Говону!" Теперь генерал Говон давно уже свергнут, свергнуты те, кто свергал его, и сам он пошел учиться в английский университет, что делает ему честь, может быть, он вообще не так плох, как мы думали. Сердце у меня колотилось, когда мы подходили утром к английскому посольству на Софийской набережной, напротив Кремля, но как только мы за несколько шагов до посольства развернули и подняли наши плакаты, я сразу успокоился. Накануне я внимательно осмотрел место и попросил английских журналистов быть там утром - у парапета набережной стояло несколько человек с фотоаппаратами. Не знаю, было ли что-нибудь об этом в английских газетах и обратил ли кто-нибудь внимание, что мы провели демонстрацию в день приезда нигерийской делегации в Москву. Через несколько дней напуганный Борис Алексеев принес мне из АНН короткое сообщение ЮПИ. "Я как увидел: Амальрик, так даже задрожал", - сказал он мне. Мы в первую очередь протянули листовки милиционерам у посольства, в недоумении глядевшим на нас. Молодой, сержант, взял и начал читать, пожилой, майор, взять отказался и бросился звонить, запрашивая инструкции. Зато прохожие разбирали листовки охотно, шофер, проехав мимо, дал задний ход, протянул руку из кабины и, схватив листовку, газанул вовсю, пока не отобрали. Поощряемые корреспондентами, мы вошли во двор посольства растерявшаяся милиция бездействовала, - и на роскошном крыльце терещенковского дома появился вальяжный и монументальный господин - ни дать ни взять посол - и начал разводить руками, как и майор милиции. Журналисты зашептали, что это всего-навсего швейцар, вышли двое длинноволосых молодых людей чиновно-бумажного вида и взяли у нас по листовке. Мы пикетировали посольство в течение часа, майор, получивший, наконец, инструкции, раздраженно повторял: "Ну, показались журналистам, вас сфотографировали, пора по домам". Подъехал автобус с английскими туристами, и девушка-гид несколько раз возбужденно спросила: "От какой вы организации?" Когда мы отвечали, что мы от себя самих, она повторяла: "Невероятно! Невероятно!" "Что вы наделали, - говорила нам потом Лариса Богораз, - теперь англичане подумают, что у нас можно свободно проводить демонстрации". Мы провели демонстрацию 16 июля, а на 14 августа улыбающийся старшина принес нам повестки в милицию. В этот день нас разбудили непрерывные стуки, как будто кто-то долбил потолок, слышалось жужжание дрели. Мы подумали, не подводят ли нам микрофоны, - хотя это делается с некоторой претензией на незаметность, но достаточно бесцеремонно, - и решили, что в милицию пойду я один, а Гюзель останется дома. Заместитель начальника отделения капитан Досужев встретил меня вежливо, сказал, что поступило заявление, что я нигде не работаю, он должен опросить меня. К нам несколько раз уже заходила женщина-фининспектор по поводу картин, извинялась и объясняла, что поступают к ним заявления - приходится ходить. Начиналась та же история, что и в 1965 году, когда меня выслали на два с половиной года в Сибирь за "паразитический образ жизни". Я ответил Досужеву, что, во-первых, я работаю для АПН, во-вторых, определением

Верховного суда РСФСР признано, что по состоянию здоровья я не попадаю под действие указа о принудительном трудоустройстве. "Вот и прекрасно, - сказал Досужев, - напишите объяснение и представьте соответствующие документы, с тем чтобы мы могли закрыть дело". Но я уже знал, что это обычная уловка документы и объяснения нужны, чтобы правильно "оформить" дело, и лучшая тактика, ничего не предъявляя и не объясняя, дело тянуть. Заявление Досужев мне не показал, но впоследствии я смог с ним познакомиться. Оно было датировано 7 августа и написано от руки: "Начальнику 6-го отделения милиции. Довожу до Вашего сведения, что Амальрик Андрей, 30-ти лет, на протяжении длительного времени ведет паразитический образ жизни, нигде не работает... Амальрик в 1964 году сидел в тюрьме за спекуляцию и тунеядство, однако после возвращения оттуда продолжает тот же образ жизни, нигде не работает. Сейчас у него на квартире без прописки проживает какая-то женщина, якобы его жена. Откуда она прибыла, никому не известно, ясно только одно, что она такая же тунеядка и тоже нигде не работает. Зовут ее Гюзель. Дома она что-то рисует и картины продает частным лицам. Очень прошу Вас разобраться и заставить этих здоровых молодых людей работать на производстве. Заявитель". Сверху была наложена резолюция начальника отделения Л. Добрера: "Тов. Досужев Г. М. Прошу совместно с участковым уполномоченным обязательно проверить образ жизни Амальрика, выяснить, где он работает, что за женщина у него живет без прописки. 12 августа 1968 г.". - А где ваша жена, - спросил Досужев, - я посылал повестку обоим. - Она больна. - Сейчас согласую вопрос с начальством, - и он начал звонить по телефону, вообще он хотел показать, что только выполняет указания. "Начальством" этим был не кто иной, как загадочный "заявитель" - сотрудник райотдела КГБ капитан Денисов, который руководил "операцией". - Капитан КГБ дает указания вам, вашему начальнику Добреру - и вы подчиняетесь беспрекословно, - спросил я впоследствии Досужева, - что, есть инструкция, по которой милиция должна выполнять указания КГБ? - Не слышал о такой инструкции. Но знаете, если, например, волк встретит в лесу медведя, он всегда посторонится, - сказал Досужев. Милиция относится к КГБ с заметной завистью, равно как и сотрудники "внутреннего" КГБ к своим коллегам, занимающимся заграницей. С "начальством" вопрос был согласован так, что меня задержали, а Гюзель привезли с эскортом милиционеров, вызвали даже врача из районной поликлиники - старую еврейку, напугавшуюся больше, чем Гюзель, - чтобы засвидетельствовать, что Гюзель здорова. И хотя у Гюзель были повышенная температура, она засвидетельствовала ее здоровье - а нужно было бы, так засвидетельствовала бы и опасную болезнь. Еще раз повторив нам обоим то же самое, Досужев отпустил нас - вернувшись домой, я заметил, что в квартире никого нет. КГБ решил одним ударом убить двух зайцев: начать дело о высылке из Москвы и одновременно поставить микрофон, для этого под разными предлогами удалили всех соседей и проникли к нам в комнату. Я поднимался в квартиру над нами, из которой устанавливали микрофон, жалуясь, что нам мешают стуки, но в комнату хозяйка меня не пустила. Каждый год в "день чекиста" сверху доносилась музыка и топот ног - отмечали свой праздник. 21 августа судили Толю Марченко - по обвинению в "нарушении паспортного режима", он получил год, максимальный срок по этой статье, в лагере ему добавили еще два за "распространение измышлений, порочащих советский строй". "Паспортный режим" - статья бытовая, и потому суд был открытым, ползала занимали гебисты - старики (пенсионеры) и молодые (стажеры), многих из них я видел потом на других судах. Две интеллигентного вида женщины, народные заседатели, сидели по обе стороны от судьи с несчастными лицами: подоплека дела была достаточно ясна, но им, "советским людям", ничего не оставалось, как подписать заранее заготовленный приговор. Меня удивило, что нет ни одного иностранного корреспондента, но во время перерыва кто-то подошел ко мне и сказал: "Ты уже слышал? Наши вошли в Чехословакию". Едва закончился суд, судьи и гебисты заторопились - по всей стране начались собрания с одобрением ввода войск. Не могу сказать, однако, что одобрение было единодушным - имею в виду не диссидентов, а тех, кого на Западе принято называть "человек с улицы". Безусловно, можно было услышать "Мы им покажем!", "Фашистам продаться захотели!",

"Мы не живем и им, гадам, жить не дадим!", "Не мы вошли б, так немцы!" - все это шло сверху, но легко принималось внизу. Один рабочий так объяснил мне: "Что это за власть, если она меня, работягу, боится, - это я должен бояться власти!" Но не назову все-таки это общим мнением народа - мне пришлось встречать людей, совсем разных, которые восприняли введение войск как трагедию. Позднее я познакомился с ортодоксальной партийной дамой и был удивлен, узнав, что она плакала 21 августа. В лагере у нас был спор между двумя рабочими. "Мы их от немцев спасли, что ж они от нас теперь отказаться хотели!" - говорил один. "Если ты тонущую девушку спас - ты что ж, получишь, что ли, право всю жизнь ебать ее!" - отвечал второй, и поскольку первый сидел как раз за изнасилование, возразить ему было нечего. Павел скачал, что есть идея провести демонстрацию, по крайней мере пятьдесят человек примут участие. Я ответил, что сильно сомневаюсь, следует ждать общей подавленности, и не знаю, нужна ли вообще демонстрация, сами чехи скорее всего сопротивления оказывать не будут. Гюзель и я сразу же после вызова в милицию решили уехать на время - только из-за суда над Марченко мы задержались. Я считал, что мне тюрьмы не миновать, потом ни в Москве, ни в Московской области меня не пропишут, и заранее хотел купить крестьянский дом где-нибудь к югу от Москвы, чтобы снова не оказаться бездомным, как по возвращении из Сибири. Пастух, женатый на еврейке, дал нам адрес сестры в Рязанской области, мол, у них в деревне можно недорого купить дом. Не зная дороги, мы добирались кружным путем, долгий поезд, с очень старыми вагонами и почти пустой, тащился всю ночь. Ближе к утру в дверь купе заглянуло лицо с ищущими глазами и тут же скрылось. От Михайлова мы ехали на автобусе, потом на попутной машине, а километров десять прошли пешком - на стоянке автобуса с нами познакомился молодой человек, и хотя он сказал, что идет навестить родных в другую деревню, любезно взялся нас проводить. По дороге Гюзель простодушно рассказывала ему о нашем желании купить дом и спрашивала, не знает ли он что-нибудь подходящее. Не могу сказать, что сестра пастуха, продавщица местного магазина, встретила нас обрадованно, несколько раз она спросила, не приятель ли я ее племянника, который только что вышел из тюрьмы или сел в тюрьму. Ночевать к себе в дом она нас пустить не решилась, заночевали мы в сарайчике на сене. Чтобы разрядить обстановку, я за ужином достал из рюкзака джин - это окончательно лишило ее покоя. "Достали иностранную бутылку, а в ней русская водка налита!" - рассказывала она потом в магазине, действительно джин прозрачный, как известная ей водка. Утром она сказала, что держит дома выручку, всю ночь не спала - и просит нас уйти. Я обошел деревню, красиво расположенную по берегу Волги, осмотрел один дом, жители уже косились с подозрением, и какой-то мужик, сказав, что здесь мы ничего не найдем, посоветовал сходить за два километра в Акулово. Мы пошли по тропинке через высохшую пашню, через поле сжатой ржи, по жаре, по странной деревне мимо пустых заколоченных домов, так напомнившей мне заброшенные деревни в Сибири, и наконец подошли к кирпичному дому, стоящему у ручья в тени лип. После жары нам так здесь понравилось, что мы сразу решили купить этот дом - и дом продавался. Пишу сейчас о нашей деревне и отчетливо ее вспоминаю, горько покидать родную страну. Мы прожили здесь несколько дней, дожидаясь уехавшей к сыну хозяйки и слушая радио, с вводом войск началось глушение, но за городом было слышно. 25 августа вечером "Голос Америки" сообщил, что группа неизвестных пыталась устроить демонстрацию на Красной площади и была тут же арестована. Я не сомневался, что это демонстрация, о которой говорил Павел, но почему же "неизвестных", ведь многие диссиденты были хорошо известны, о каждом заявлении того же Литвинова "Голос Америки" оповещал подробно и многозначительно. На следующее утро мы выехали в Москву. Я узнал, что в демонстрации участвовало семь человек, Лариса Богораз предупредила корреспондентов, что демонстрация начнется в одиннадцать, но все собрались у Лобного места только к двенадцати, когда корреспонденты разошлись, только один задержался и увидел, как на другом конце площади группа людей развернула плакаты и тут же была смята милицией и агентами в штатском. Агенты изображали возмущенную толпу, на суде большинство оказались служащими одного и того

же подразделения внутренних войск. Отпустили только Горбаневскую, у которой было двое маленьких детей, она рассказала, что на них бросились с криком: "Это все жида, бей их!" Плакаты были по-чешски и по-русски, один со старым лозунгом: "За нашу и вашу свободу!" У Лобного места было еще несколько человек, шедших на демонстрацию, но они не решились подойти, Петр Якир уверял, что был задержан в метро, - Павел Литвинов позднее говорил мне, что это неправда, что Якир просто испугался. Через несколько минут после того, как арестованных увезли, из Кремля выехала чехословацкая делегация во главе с Дубчеком. Мне казалось тогда, что демонстрация была ошибкой - во всяком случае тактической. Я считал, что если Движение сосредоточится на внутренних вопросах, то сможет найти все более широкую поддержку, властям все труднее будет представлять нас в виде кучки отщепенцев. Но если выступить в защиту Чехословакии, то это останется непонятым, а власти арестуют всех демонстрантов и лишат Движение руководителей и активных участников, что сможет за несколько лет привести к его распаду. Помню, как мы спорили об этом с Петром Григоренко - он вместе с Виктором Красиным был в Крыму во время демонстрации, иначе одним из первых появился бы на Красной площади, размахивая палкой. Думаю теперь, что я был неправ. Было бы очень печально, если бы из самой России не раздался этот слабый и отчаянный крик протеста. Исторически было необходимо - и это важнее тактических соображений, - чтобы было сказано "нет" советскому империализму; быть может, в конечном счете решительное "нет" семи человек на Лобном месте окажется весомее, чем равнодушное "да" семидесяти миллионов на "собраниях трудящихся". Я хотел немедленно сообщить имена и подробности корреспондентам, но все просили отложить встречу на несколько дней в связи с чехословацко-советскими переговорами. Говорить же по телефону о том, что произошло, для нас в то время казалось еще невозможным. Тогда я решил прямо ехать к корреспонденту "Нью-Йорк Таймс" Андерсону. В воротах его дома постоянно дежурили один или двое милиционеров, а "лица в штатском" прогуливались невдалеке. Я сказал Гюзель, чтоб она оделась как можно лучше, может быть, ее примут за иностранку. Меня всегда угнетала унижительность процедуры посещения иностранцев в Москве, особенно когда они просили говорить по-английски при входе, чтобы милиционер не принял нас за русских. Часто я вступал с милицией в пререкания, доказывая, что я вправе ходить по своей стране, но сейчас было лучше пройти незаметно, и, по счастью, никто не задержал нас в воротах. Русская жена Андерсона была потрясена всем: вводом войск, привозом Дубчека на переговоры в наручниках, пятиминутной демонстрацией. "Ну зачем они вышли с плакатами, - говорила она, - пришли бы с цветами, чтоб поднести чехам!" На следующий день у Горбаневской мы составили письмо в европейские и американские газеты, где она рассказала о демонстрации. Мы писали от руки, она подписала несколько пустых листов, с тем чтобы дома я перепечатал письмо на машинке, и вечером я отвез его Андерсону. После этого мы вернулись в Акулово, купили дом и счастливо прожили в нем две недели. Старик-печник сложил нам печь, рассуждая, что силе можно противопоставить хитрость и потому чехи обведут русских. Нас посетили председатель и парторг колхоза, и мы торжественно подали им заявление с просьбой разрешить нам проживание на территории их колхоза, такое же заявление я должен подать теперь французскому правительству, купив дом в Верхней Савойе. "Ваше дело - подать, наше - разобрать", - сказал председатель, запивая свои слова большим количеством выставленной нами водки, и дело было решено. На вопрос Гюзель, достаточно ли теперь платят в колхозе, парторг ответил, что платят хорошо, но купить на эти деньги нечего. Мы стояли у колодца, когда откуда-то со стороны простирающегося за домом поля появился молодой человек, невысокий, черненький, подвижный - и шел, протягивая к нам руки, со словами: "Так вот они какие!" Он сказал, что приехал из Москвы в гости к дяде и, узнав, что в соседней деревне купили дом москвичи, решил познакомиться. На следующий день он зашел уже с уткой и бутылкой наливки, за ужином высказался если не прямо антисоветски, то довольно критически. Несмотря на его назойливость, мы от дальнейших встреч уклонились, но он и в Москве звонил нам и последний раз спросил, где должна открыться выставка Гюзель. Когда мы пришли на

выставку, оказалось, что картины Гюзель сняты - впрочем, по указанию партийного начальства сняли картины многих художников. Постепенно мне стало ясно, как КГБ "вел" нас во время деревенской поездки. Если бы мы, помня о микрофоне, заранее не сказали ни слова, они не обнаружили бы сразу наш дом - но проследили бы в следующем году, да я и не считал тогда, что из дома нужно делать тайну. Суд над демонстрантами проходил в центре Москвы, недалеко от Котельнической набережной, стояли солнечные октябрьские дни, в сквере напротив еще не опали листья и красиво желтели, в переулке толпились друзья подсудимых, иностранные корреспонденты и огромное количество стукачей - если смотреть со стороны, все это походило на народное гулянье в провинции. КГБ, правда, было задумано не "гулянье", а "народный гнев": на близлежащих фабриках отобрали рабочих и направили к суду; чтоб все происходило веселее и чтоб они не разбежались, в соседнем переулке, в подвале, были накрыты столы с водкой. Много пьяных толклось в толпе и бормотало: "Это все жида! Фашисты! Давить их надо!" Пожилой багроволицый старшина у входа в суд громко повторял: жида! жида! - а рядом молоденький милиционер густо краснел, слушая это. Какой-то работяга, немолодой и уже сильно пьяный, подошел, покачиваясь, к жене итальянского корреспондента: "Заладили: Чехословакия! Чехословакия! А не хотите ли со мной побеседовать тет-а-тет об американской агрессии во Вьетнаме?!" - и громко икнул в лицо растерявшейся итальянки. Впрочем, никак прямо они нас не задевали, но набросились на опердружинника-фотографа и даже вырвали у него аппарат, так что пришлось его отбивать своим у своих. Больше всего пьяные работяги раздражали милицию - их привыкли без разговора тащить в отделение, а тут оказались как бы в роли союзников. "А я что могу поделаться, они пьяные даже у станков работают", - отвечал на жалобы майор милиции. Еще во время суда над Галансковым и Гинзбургом я обратил внимание на чернобородого главара опердружинников, назвавшегося Александровым. По своим кровожадным разговорам он казался мне молодым партийным фанатиком, но генерал Григоренко - в партийных делах гораздо более опытный - говорил, что это обычный карьерист. Разговоры между диссидентами и гебистами у судов сводились к взаимным оскорблениям; если диссиденты даже и пытались кого-то переубедить, то говорили: вы не знаете того-то, не понимаете того-то, что тем казалось еще более обидным. Но меня как писателя интересовало, что это за тип людей, и он как будто рад был возможности разговора. Мы довольно долго гуляли вдвоем по набережной - под обеспокоенными взорами с обеих сторон. Когда мне приходилось иметь с молодыми гебистами подобие человеческого разговора, они всегда старались подчеркнуть, что ими тоже движут идейные соображения; я отвечал, что там, где убеждения не противоречат служебной карьере, трудно провести точную границу. Я спросил Александрова, понимает ли он, что он тоже рискует, что положение "наверху" не стабильно, кто-то может умерен, или просто слететь, в один прекрасный день вторжение в Чехословакию объявят "ошибкой", суды - "перегибами", но тот, кто сидел в кабинетах, будет проводить и новую политику, а кто, как он, был вытолкнут "на публику", - будет козлом отпущения. Александров сказал, что понимает это, и ни на одном суде я его больше не видел. Ни на одном суде потом не появлялся и "разгневанный народ" - или власти решили, что производит это скорее обратное впечатление, или же рассудили так: сегодня мы натравливаем работяг на них, завтра работяги бросятся на нас. Через несколько месяцев, во время суда над Ириной Белогородской, обвиненной в распространении обращения в защиту Марченко, публика состояла из томных молодых людей и девушек в дубленках, они никого не задирали, вежливо слушали речи диссидентов и иногда, вздыхая, говорили друг другу: "Скорее бы все это кончилось". Из-за особенностей советской юриспруденции ни один из авторов этого обращения не только не был привлечен к ответственности, но даже не был приглашен свидетелем и уж, конечно, не был допущен в зал суда как зритель. Специально подобранная публика на политических процессах отвечает двум задачам: свести до минимума утечку "неконтролируемой информации" и психологически "додавить" подсудимого, чтоб он не видел себе ниоткуда поддержки. Поспешность ведения следствия и суда над демонстрантами указывала, что их не хотят слишком долго держать в тюрьме.

Несмотря на то, что все держались очень достойно и ни один вину не признал, Бабицкий, Богораз и Литвинов получили по три, четыре и пять лет ссылки (*), Делоне и Дремлюга, как ранее судимые, - по три года лагерей, а Файнберг еще ранее был признан неменяемым и помещен в психбольницу, Горбаневская к суду не привлекалась. В самом тяжелом положении оказался Владимир Дремлюга - рабочий из Херсона, с большой энергией, долей авантюризма и развитым чувством справедливости. Он был отправлен на Кольский полуостров, оттуда переведен и Якутию, где получил второй срок, - и после шести лет ему предложили на выбор: или третий срок, или покаянное письмо в газету.

(* Судом, чтоб не укорачивать ссылку. *)

Глава 7. ХОЛОДНАЯ ОСЕНЬ, СУРОВАЯ ЗИМА

Был первый час ночи, не глядя по сторонам, я шел пустыми и темными арбатскими переулками, и почти при выходе на Арбат меня остановил милиционер и спросил "документ". Несколько сбиваясь, он пояснил, что на Казанском вокзале украден как раз такой чемодан, как я несу. - Я живу в двух шагах, давайте зайдём, и я дам вам паспорт. - Ну, вдруг там ловушка, - сказал милиционер. На углу "случайно" стояла машина, шофер ковырялся в моторе, около маячила еще одна фигура. - Довезешь нас до отделения? - спросил милиционер. - Ну что ж, - как бы нехотя ответил шофер. В том же самом 6-м отделении без всяких споров я раскрыл свой потрепанный чемоданчик и показал дежурному машинку и пачку бумаг. Уже трижды я заезжал к моим друзьям Рубиным за машинкой и частью документов для "Процесса четырех", но у них велась в это время обработка записей на процессе демонстрантов, толпились диссиденты, а у дома филеры, и только на третий раз, не заметив ранее слежки, я взял нужные бумаги. Дежурный потянулся за ними - я их ему не дал, сказав, что это мои личные бумаги, не стоило, однако, большого труда их у меня вырвать. Дежурный несколько минут листал их, а меня усадили на скамью рядом с воришкой, задержанным за кражу телевизора. - Вот что творят, - обращался он ко мне за сочувствием, - я ж этот телевизор не крал, а просто взял посмотреть. - Ваши бумаги такого рода, что мы их касаться не будем, а передадим сотрудникам Комитета государственной безопасности! - торжественно сказал дежурный, просунув из-за барьера лицо в окошко. Похититель телевизора отпрянул, и почти тут же, как будто они ждали этих слов за дверью, появились два человека в штатском, взяли бумаги и, ни слова не говоря, прошли вглубь. Через час меня провели в маленький кабинет на втором этаже. Понять было не трудно, что все материалы предназначались для сборника. "Неужели вот так просто можно получить семь лет?" - подумал я, вспомнив сборник Галанскова. Один следователь был длинный, по имени Василий Иванович или Иван Васильевич, другой назвал себя: капитан Смелов, или Седов, дежурный следователь. "Вам тридцать лет, - сказал он, - мне сорок пять, люди примерно одного возраста, зачем же нам хитрить друг с другом". Оба были гебистами старой закваски, потом появились двое помоложе, один, в модном шарфике, стал листать бумаги не пальцами, а пластмассовой ручкой, чтобы не оставить отпечатков, Василий же Иванович, напротив, с вызовом хватал бумажки всей пятерней, показывая и ему, и мне, что они, старики, без всяких там новомодных затей сумеют разобраться в деле - я бы назвал это конфликтом отцов и детей. Разговор был такой: где работаете? так вы не в штате? а как бы в АПН ваши товарищи отнесли к этим бумажкам? зачем вам они? кто дал? куда несли? с целью хранения и распространения? Я отвечал, что взял у знакомых, имени которых называть не буду, хотел из любопытства посмотреть, а потом уничтожить, так что никакого хранения и распространения нет. - А кто ж вам все-таки дал? Придется сказать. - Придется, если вы меня за ноги повесите и будете пытаться. - Ну, мы теперь такими вещами не занимаемся. - Тогда не придется. - Подписи, правда, нет тут вашей, под этими пасквилями, но я бы такие бумажки и в руки взять побрезговал, - сказал Седов-Смелов. - Вы, вероятно, славе Галанскова и Гинзбурга позавидовали, а я их видел много раз, ну что, обыкновенные люди. Добровольского он, вероятно, счел необыкновенным, во всяком случае не упомянул его. "Желание прославиться, обратить на себя внимание, стать известным" - это постоянные объяснения действий диссидентов со стороны властей, думаю, во все времена и во всех

странах. Я потом на это стал спокойно отвечать: "Да, известность не повредит". Молодые говорили, что они из угрозыска: украдено как раз в эту ночь необычайно много пишущих машинок; оба, однако, были из райотдела КГБ, а старики из Московского управления - они так и сказали. Под утро самый молодой остался охранять меня, я заметил на столе рапорт милиционера: "Задержан гр-н Амальрик с антисоветской литературой". - Зачем же сразу так, с "антисоветской", уж написали бы полегче, с "клеветнической". - Народ неопытный, погорячились, - сказал мой охранник, он делал вид, что вызвали его только потому, что он живет рядом. Становилось между тем ясно, что у наших "славных органов" произошла некоторая накладка. Указание было дано изъять записи последнего процесса, и думали, что я иду с ними, а у меня оказались уже распубликованные письма. Поэтому не совсем ясно понимали, что со мной делать, ждали инструкций, и утром я был отпущен, к радости не спавшей всю ночь Гюзель. На следующий день, однако, меня снова привели в то же отделение - сам я ни по каким повесткам уже не ходил, Досужев и Денисов, выдававший себя за сотрудника горотдела милиции, долго размазывали вчерашнее происшествие и старались что-то выпытать, а после мне было сделано формальное предупреждение о трудоустройстве в течение месяца. Первое предупреждение сделал сразу же после нашего приезда из Акулова бывший участковый инспектор капитан Наместников, толстый и глупый, который так и не понял, что же происходит. Он только что кончил заочно юридический факультет, стал заместителем начальника отделения, сидел в отдельном кабинете и был очень рад мне как свидетелю его славы. Поэтому он забыл пригласить понятых, и без моей подписи предупреждение оказалось недействительным. Два стажера КГБ вызвались подписать его задним числом, милиция на этот подлог не пошла, но на этот раз понятых пригласили. Не найди я в течение месяца работы, я мог бы - после еще одного предупреждения - быть сослан или посажен на два года. На вопрос о бумагах и машинке Денисов и Досужев ответили, что ничего не знают. Задержавшие меня гебисты, однако, сделали просчет: не привыкнув как оперативники соблюдать формальности или не имея юридической подготовки, они никаким протоколом их изъятие не оформили. Я сразу же подал в городскую прокуратуру жалобу на незаконное задержание и хищение у меня машинки и бумаг. Встретили меня там неприязненно, дело, однако, пошло - и 30 октября Досужев мне вернул и машинку и бумаги, среди них затерялась бумажка, исписанная знакомым мне почерком "заявителя", - сделанная Денисовым расшифровка неясных мест. Он жаловался потом в милиции, что их сдерживает начальство, не то они уж бы мне срок вкатили. В прокуратуре какая-то опустившаяся баба допросила меня о моем задержании, и я подумал: "Уж тебя-то, милочка, я обведу вокруг пальца". Не тут-то было, она так ловко записывала мои показания, ничего явно не искажая, но делая нужный ей акцент, что я понял: нужно быть осторожным с людьми, имеющими опыт следовательской работы, какими бы идиотами они ни казались. Дело тянулось долго, ссылались, что кто-то "заболел", в конце концов я получил примерно такой ответ: машинку и бумаги вам вернули, задержаны вы были для проверки документов - радуйтесь, что все так хорошо кончилось. Работая над "Процессом четырех", я пользовался разными машинками, у одной даже перелил шрифт, чтобы КГБ не мог уличить меня. При задержании я пояснил, что нес машинку, намереваясь ее купить, а свою продать, - и поэтому наутро отнес свою в комиссионный магазин. С портативными машинками трудно в Москве, - но даже через две недели она все еще не была продана: ее-де хочет купить "одно солидное государственное учреждение", но денег не переводит. - Видно, недостаточно солидное, раз у него нет денег, - сказал я. - В таком случае давайте машинку назад. Директор магазина отказался. Я пригрозил, что буду сидеть у него в кабинете, пока мне или деньги не заплатят, или машинку не отдадут. Директору не улыбалось ни иметь свидетеля его коммерческих переговоров, ни затевать скандал, так что машинку мне возвратили, да и "солидное учреждение" не осталось внакладе, потом изъыв ее у меня без всяких денег. Вскоре "Процесс четырех" я благополучно переслал в Голландию, а Василия Ивановича имел удовольствие видеть еще раз - на кассации дела демонстрантов, это было лишним подтверждением, что он занимался ими, а не Галансковым и Гинзбургом. Я в

коридоре суда разговаривал с французским корреспондентом и вдруг смотрю - идет он. - Василий Иванович? - Да, Василий Иванович. - Сотрудник КГБ? - Да, сотрудник КГБ, - все это с нарастающим напряжением. - Ну ладно, идите пока, - сказал я, махнув рукой, и с перекошенным лицом он удалился, я просто хотел немножко поиздеваться над ним. Когда суд закончился и стала выходить публика, я содрогнулся: ни до, ни после я не видел такого сборища омерзительных лиц, у каждого был какой-то неприятный физический недостаток или явно написанный порок - не знаю, как уж их здесь всех таких собрали, мне приходилось видеть и благообразных гебистов. Суд, как и следовало ожидать, утвердил приговоры. В другой раз мы пришли в Верховный суд с Генри Каммом, корреспондентом "Нью-Йорк Таймс", на кассацию Иры Белгородской. Нас посылали из комнаты в комнату, пока в последней не сказали, что суд полчаса назад кончился. Все убыстряя шаги, мы пробегали за коридором коридор не в силах найти выхода, бедный Генри, не говорящий ни слова по-русски, думал, что он уже не выйдет отсюда. - Что, ребята, заблудились? - дружелюбно спросил нас пожилой старшина, распахнул ничем не приметную дверь - и мы оказались на улице. С машинкой я победил, борьба против ссылки была сложней. Я разослал письма в милицию, районную прокуратуру, Союз журналистов - с перечислением моих интервью для АПН, выдержками из определения Верховного суда по моему делу и т. д. Это дало дополнительную работу КГБ, но не могло меня спасти. В Союзе журналистов двое функционеров говорили со мной, один сказал, что раз я, пусть внештатно, работаю для АПН, ссылать меня нет оснований, другой стоял на точке зрения, что сослать или посадить кого-то никогда не вредно. Почти тут же мне позвонил Борис Алексеев: он должен вернуть мне ранее заказанные статьи, ничего мне больше АПН не закажет. Статьи о художниках он мне не вернул, однако, сказав, что они у "большого начальства". Я позвонил ему через год - он вешал трубку, а когда я приехал к нему в АПН, очень нервничая, сказал, что "выбросил такую дрянь в корзину", что "статей вообще не брал" и, наконец, что "имел большие неприятности" и потому не хочет ни видеть меня, ни слышать. - Неужели и с моей статьей так получится? - испуганно лепетала журналистка, только что принесшая статью о балете. - Гони в шею этого клеветника! - кричал из-за стены начальник отдела, некогда хваливший меня за "тонкость". - Клеветник! Пиши доносы на советскую власть! Печатайся в Голландии! взвинчивал себя Алексеев. - Доносов я как раз не пишу, - скачал я и, обругав их всех напоследок, ушел - чтобы тут же написать донос на Алексеева в правление АПН. Ни ответа, ни своих статей я не получил (*).

(* КГБ, впрочем, нашел эти статьи невинными - и после суда надо мной следователь возвратил изъятые копии Гюзель. Статьи о художниках были опубликованы в "Континенте" No 10, а о коллекционерах - в "Ковчеге" No 2. *)

С августа было ясно, что КГБ раскрыл мою роль "офицера связи", к этому добавлялась наша демонстрация: не заводя политического дела, КГБ решил сослать меня как "тунеядца", для этого лишить работы в АПН и не дать устроиться на другую, достаточно было проследить, куда я иду устраиваться, и позвонить в отдел кадров. Гебисты повторяли старый прием, но я за три года кое-чему научился. Слежку за домом устанавливали с восьми утра, но я заметил объявление, что нашему почтовому отделению требуются разносчики писем и газет с 6 часов утра. К шести утра я туда отправился - и был с радостью принят, не много было желающих работать за 23 рубля в месяц. Быстро разнося газеты, я до восьми уже возвращался домой, так что КГБ пребывал в приятной уверенности, что я нигде не работаю. Впрочем, первый месяц считался испытательным сроком, и я мог быть без труда уволен, нужно было скрывать работу от милиции. Наместников сделал мне последнее предупреждение: я, так сказать, "подловил" его, он затем получил от прокуратуры мягкое, но все же порицание за предупреждение работающему и с горечью сказал Денисову: "Я для КГБ старался, а в результате схватил замечание!" Все же я не мог быть окончательно оформлен, пока не представлю справку с прежней работы. Справку в АПН выдать мне отказались, я прошел в кабинет главного бухгалтера - охранникам там я так примелькался, что они меня пропустили - и повторил свой прием: не уйду до тех пор, пока не дадут

справку. Инстинктивный страх перед скандалом заставил бухгалтера мне ее выдать, он приписал, что она "не действительна для получения пенсии", но на пенсию мне было наплевать: отдел кадров райуправления связи сделал мне, наконец, запись в трудовой книжке. Сразу же я послал районному прокурору жалобу на предупреждение милиции и даже пошел к нему. Мой старый знакомый Фетисов, подписавший в 1965 году ордер на мой арест, или несколько сник за три года, или я, напротив, воспарил, но теперь мне в нем что-то жалкое почудилось. - Что нужно? - спросил он, насупившись и глядя в стол. - У меня три вопроса в связи с моими жалобами, - начал я, раскрывая папочку с копиями многочисленных жалоб. Вид папочки подействовал на него как красная тряпка на быка. - Работать надо, а не жалобы писать! - гаркнул он, взглянув на меня с ненавистью. - Чего ж горло драть! - ответил я. - Вы меня выслали, видите - я вернулся, сижу перед вами живой и невредимый, а вас, если так будете надуваться и наливать кровью, скоро кондрашка хватит! Прокурор вскочил и начал кричать что-то нечленораздельное, так что я ушел очень довольный собой и в надежде, что его действительно стукнет кондрашка. На нее одну не надеюсь, я тут же написал жалобу в райком КПСС, что прокурор кричит, брызжет слюной, топает ногами, все это выглядит комично, и тем самым он "роняет достоинство коммуниста и прокурора", но, учитывая его бывшие заслуги, прошу его не наказывать, а просто перевести на "заслуженный отдых" - я надеялся, что последний пассаж его особенно разозлит. Через два месяца меня пригласила секретарь райкома Татьяна Щекин-Кротова, разговаривала со мной любезно, я бы сказал - с долей любопытства, видно было, что для нее прокурор - мелкая сошка, в приемной я заметил начальников, сидящих с видом провинившихся школьников. Она сказала, что прокурор получит "замечание", но, искушенная в бюрократической работе, думала, что я хочу свести с ним счеты за другие дела, ибо сама по себе "брань на воротах не виснет". Я рассказал, как защищался от ссылки, и заключил, что КГБ не сможет эффективно работать ни в условиях правопорядка, ни в условиях беспорядка, ибо они теряются при первом же сопротивлении им. Я и сейчас думаю, что в случае массовых волнений и мятежей КГБ первым выйдет из строя, хотя к таким волнениям подготовились: в 1968 году была разработана инструкция о переходе при беспорядках всей власти в районе к "тройке" - первому секретарю райкома, начальнику райотдела КГБ и военкому; и селах же всем председателям колхозов выдали оружие и установили на дому телефоны. - Что же вы делали, когда узнали, что у вас установлен микрофон? спросила Щекин-Кротова, не исключая, что он и у нее установлен. - Что ж я мог делать, - ответил я. - Влезал на рояль и матерно ругался в трещину в потолке, пока мне это не надоело. Капитан Денисов с полковником Добрером, разочарованным в своих заместителях Досужаве и Наместникове, побывали на почте, но уволить меня было уже не так просто, кроме того, понадобилось бы заводить новое дело. На почте, более или менее понимая происходящее, относились ко мне хорошо, но я и работал хорошо, пока не увидел, что опасность миновала - и уволился в марте 1969 года. За эти месяцы мое представление, как функционирует "аппарат", расширилось, я понял, что возможности КГБ широки, но не безграничны и, если понимать работу бюрократического механизма, можно подсыпать ему песок в колеса. Перемещение точки зрения с "мистической" на "функциональную" сторону репрессивной власти показало как возможность борьбы, так и неизбежность тактических уловок. Я понимал также, что получил только передышку. 10 ноября 1968 года умер Алексей Евграфович Костерин. Помню короткое прощанье в больничном морге и шоферов, приговаривающих: "Скорей! Скорей!" они должны были везти в крематорий. Под это "скорей, скорей" проходит весь обряд советских похорон. Рядом лежал молодой человек, по виду рабочий, в окружении старух в черном - с ними уже совсем не церемонились, и я слышал, как корреспондент Рейтера сказал кому-то: "Вот что значит умереть по-русски". Неожиданно Союз писателей, исключивший Костерина за полмесяца до смерти, арендовал автобусы для похорон, тут же суетился распорядитель. Гроб был поставлен в первый автобус, туда же сели родственники и близкие друзья, а мы все во второй, и в середине дороги Красин обнаружил, что нас везут в другую сторону. Поднялся крик, начали стучать в окна - и шофер, испугавшись, повернул к крематорию, ССП счет за

автобусы оплатить отказался. В мрачном зале крематория, навсегда связанном у меня с похоронами матери, тоже было нечто вроде очереди - не скажу "живой очереди", потому что речь шла все-таки о покойниках. Костерина положили справа при входе, за колоннами, а в центре зала еще шла чья-то панихида, и слышно было, как коллега покойного все время повторял "закончил, закончил": тогда-то закончил школу, тогда-то службу в армии, тогда-то институт, тогда-то докторскую диссертацию - и наконец закончил свою славную жизнь. На этом и сам оратор закончил - и наступили наша очередь. Большой зал был полон: не только собрались московские диссиденты и родственники Костерина, но и писатели, крымские татары, чечены, ингуши, просто сочувствующие, а также иностранные корреспонденты и гебисты - из расчета десять на одного корреспондента. Произошло некоторое замешательство: наши девушки стали раздавать черно-красные ленточки на булавках, обходя стукачей, так что овцы были явно отделены от козлиц. Все теперь смотрели не в лицо друг другу, а на грудь - приколоты ли траурная ленточка. Органист - лысый еврей с усталым и безразличным лицом - заиграл Баха, и когда он кончил, на трибуну поднялся Петр Григорьевич. "Товарищи!" - сказал он и в этот момент микрофон отключили, но у Григоренко был достаточно громкий, генеральский голос. Он начал с теплых личных слов о Костерине, как много Костерин для него значил, как он из бунтаря превратил его в борца, и заговорил о его борьбе: "Разрушение бюрократической машины - это прежде всего революция в умах, в сознании людей... Важнейшая задача сегодняшнего дня - бескомпромиссная борьба против тоталитаризма, скрывающегося под маской так называемой "социалистической демократии". Этому они отдавали все свои силы!" Гюзель смотрела на музыканта и видела, как меняется его лицо. Сначала он, видимо, просто не слушал, потом лицо его стало вытягиваться, челюсть отвисла, взгляд выражал величайшее недоумение. Ничего подобного он не слышал за всю свою, вероятно, долгую работу в крематории. Впрочем, никто ничего подобного не слышал несколько десятилетий: в Москве совершенно открыто при стечении нескольких сот человек была произнесена политическая речь. Гебисты были в растерянности: броситься ли им, опрокидывая гроб, на возвышение и стащить Петра Григорьевича - или же слушать до конца. "Ваше время истекло!" - дважды прерывал его голос, на этот раз через микрофон, но Григоренко продолжал говорить и закончил: "Не спи, Алешка! Воюй, Алешка Костерин! Мы, твои друзья, не отстанем от тебя! Свобода будет! Демократия будет!" 5 декабря я принял участие в демонстрации на Пушкинской площади - с 1965 года не было случая, чтоб не пришло несколько человек. В 1968 году нас было не более пятнадцати, мы молча сняли шапки, чтобы почтить память всех погибших в лагерях, - вокруг нас кольцом стояло человек тридцать гебистов в штатском, несколько милиционеров и три корреспондента. Людмила Алексеева рассказывала мне, что в 1976 году - уже после нашего отъезда - площадь была заполнена народом так, что остановилось движение, перед памятником стояла цепь солдат, а верхом на Пушкине сидел гебист и еле успевал вертеть в разные стороны японской камерой. Смерть Костерина была тяжелым ударом для Григоренко; когда он сказал мне, что Алексей Евграфович умер, я слышал слезы в его голосе. Они совсем недавно открыли круг друга: найти единомышленника и друга для того, чтоб тут же его потерять, - достаточно тяжело. Большинство участников Движения довольно кисло смотрели на коммунизм и марксизм, и единственный, с кем Петр Григорьевич по всем вопросам находил общий язык, был Иван Яхимович. Григоренко даже имел его доверенность на подпись: когда Ян Палах сжег себя, мы написали обращение, которое он за себя и Яхимовича подписал. Самосожжение Яна Палаха потрясло меня больше, чем ввод войск, - я первый раз почувствовал, что мне стыдно быть русским. Я все-таки был неправ в разговоре с Павлом: чехи оказали сопротивление. Яхимович был арестован в марте 1969 года. Он стал известен год назад благодаря письму Суслову о необходимости свободного распространения информации и отказа от политических процессов, за несколько лет до этого о нем была большая статья в "Комсомольской правде" как о замечательном председателе колхоза в Латвии. У меня не было сомнений в искренности его веры в коммунизм, но она носила крайне

аффектированный характер, он и говорил так: любовь к народу, идеи равенства, верность идеалам революции если мы не вернемся к этим идеалам, новая революция неизбежна. "Имейте мужество исправить допущенные ошибки, пока в это дело не впутались рабочие и крестьяне", - писал он Суслову, и я представляю, с каким выражением читал это - если не Суслов, то его референт. - Знаете, как произойдет революция, - сказал я Яхимовичу, - вы, конечно, будете сидеть к этому времени в тюрьме. В один прекрасный день в вашем же Краславском районе народ отправится в магазин за колбасой - и обнаружит, что колбасы нет. И хотя неоднократно не бывало колбасы, а некоторые даже не представляют себе, что это такое, но тут как бы зубчик сорвется в механизме, и он пойдет на раскрутку - народ заволнуется, раздадутся крики: "Где колбаса?! Жрать нечего!" Начнут бить стекла, двинутся к райкому, испуганная власть разбежится - и в упоении успеха покажется слишком незначительным требовать колбасу, а не свободу, равенство и братство! Народ двинется к тюрьме и с криками "Свободу Яхимовичу!" освободит вас - и вы с балкона произнесете к народу речь о народе, после чего народ разбредется по домам, чтобы наутро обнаружить, что в магазинах нет уже не только колбасы, но и хлеба. Во время следствия - а оно началось еще до ареста Яхимовича - он обращался с революционными речами к следователю и даже говорил, что надеется убедить его. Был он признан невменяемым, скоро после этого "покаялся", был освобожден и, как Дубчек, получил работу лесника, не знаю, какие показания он давал о своих прежних друзьях. Степень сопротивляемости на следствии и в заключении зависит от личных качеств человека, но не от его политических взглядов, и хотя марксизм скорее оправдывает отречение как тактический прием, можно назвать не сломившихся в лагере марксистов. Человек сломавшийся, впрочем, в любой философии найдет оправдание: если он христианин, так не согрешишь - не покаешься - не спасешься; если либерал-гуманист, так, спасая себя, спасал человеческую личность - а это самое ценное. В общем же я вывел то заключение, что чем более человек рвется к борьбе и рвет на себе рубашку, тем менее надежен он будет. Возможно, есть и обратные примеры. Течение, к которому принадлежали Яхимович, Григоренко и другие оппозиционные марксисты, имело своим аналогом восточноевропейский ревизионизм, но я думаю, что они сами с таким определением не согласились бы, считая, что это Сталин ревизовал марксизм-ленинизм, а они хотят вернуться к "истинному ленинизму". В этом движении был заложен некий парадокс. Большевизм и в теории, и на практике был шире ленинизма - только постепенно ленинизм победил внутри большевизма и получил логическое развитие в сталинизме. И хотя наши "истинные ленинисты" при каждом удобном и неудобном случае клялись Лениным - и вполне искренне, - в действительности они пытались возродить не ленинское течение в большевизме, более демократическое, чем нечаевско-ткачевский ленинизм. Однако насколько вообще в истории возможно движение назад и восстановление того, что историей было отвергнуто? Увы, история часто отвергает лучшее ради худшего! Даже если такое возражение возможно, то только после анализа - почему Ленин победил в большевизме. Поскольку этот вопрос не поднимается, "истинный ленинизм" остается бесплоден. Можно говорить о большевизме и меньшевизме не только как о политических доктринах, но и как о политических темпераментах. С этой точки зрения Валерий Чалидзе и Павел Литвинов, с их правовым доктринерством, и Рой и Жорес Медведевы, с их марксистским доктринерством, - типичные меньшевики, а Александр Солженицын и Петр Григоренко - большевики, боюсь, что и я скоро попадаю в их компанию, поскольку при всем своем либерализме не лишен пугачевских замашек. Григоренко предложил организовать комитет в защиту Яхимовича. Я сначала поддержал его, надеясь, что это будет первым шагом для преодоления психологического барьера, о котором писал уже, - страха перед самим словом "организация". Красин и Якир, однако, сильно сомневались, нужно ли создавать комитет, исходя из частного случая, уж если, мол, начинать, то с Комитета защиты прав человека, и я согласился с ними. Некоторую оппозицию идея Григоренко встретила и потому, что он предложил комитет в защиту коммуниста - как же так, в защиту Марченко не создавали, в защиту Литвинова не создавали, а посадили коммуниста - и сразу комитет. Однако упрек этот был

неверен, Григоренко как раз после ареста Марченко писал нам из Крыма, что необходимо не ограничиться заявлением, но создать комитет в его защиту. На этот раз он составил уже список возможных членов и проект обращения - и созвал совещание у себя дома. Просматривая список, Красин, сам полуеврей, насмешливо сказал: "Это не комитет, а жидовский кагал во главе с русским генералом!" Мнения разделились, большинство считало: будет комитет - так будет, а не будет - так не будет. Красину, Якиру и мне удалось, однако, убедить всех ограничиться заявлением в защиту Яхимовича, Петр Григорович надолго остался на нас обижен за это. На совещание пригласили Бориса Цукермана, чтобы он объяснил юридическую сторону создания комитета, - чем больше он объяснял, тем менее понятно все становилось. Физик по образованию, он был, наряду с Валерием Чалидзе и Александром Есениным-Вольпиным, одним из трех экспертов Движения в юридических вопросах. Выраженный тип тихого упряма, который говорит медленно и занудливо, но если вы его перебьете, продолжит на том же слове, он затевал и вел множество кляузных дел против разных государственных организаций. Когда стали применять выталкивание за границу как прием борьбы с диссидентами, Чалидзе, Вольпина и Цукермана вытолкнули одними из первых лучшее признание важности их деятельности. "Нам Цукерман много палок в колеса ставил", - говорил нам потом майор КГБ Пустяков, специалист по диссидентам. По Цукерману, выходило, что самое легальное - это создание профсоюза; оставалось неясным, по какому профессиональному признаку можем мы его создавать. Идея оказалась плодотворной только в 1978 году, когда открытое недовольство среди рабочих присело к созданию первого независимого профсоюза по образцу диссидентских групп. Я предложил иной план. Как своего рода номиналист, я считаю, что для того, чтобы явление существовало, его надо назвать. Я предложил объявить о создании Советского Демократического Движения, сокращенно СДД, изложить кратко его основные цели и методы и предложить, чтобы каждый, кто их разделяет, считал себя участником Движения. Я полагал, что, если такое обращение будет широко распространено, оно позволит многим людям - сейчас изолированным - идентифицировать себя с Движением и создаст для него широкую базу. Я даже составил проект обращения на одном листке. Красин уклончиво сказал, что над ним можно подумать, но реакция остальных, особенно Григоренко, была отрицательная: аббревиатура СДД уже напоминала политическую партию, текст содержал претензию на идеологию, а, как я говорил, большинство хотело оставаться "правозащитным движением". В сущности, и цели СДД были правозащитными, но понятыми более широко, чем просто защита того, кто сел в тюрьму за то, что защищал севшего до него, хождение по сужающемуся кругу замыкало Движение на себя. Вопрос решился летом 1969 года, когда пятнадцать человек организовали инициативную группу по защите прав человека в СССР и обратились с письмом в ООН. При создании группы меня не было в Москве, была она в значительной степени детищем Якира и Красина - Литвинов позднее говорил мне, что некоторых включили в группу, даже не спрашивая их согласия, ни от кого из членов группы я таких жалоб не слышал. Как я предвидел, они не были арестованы сразу и власти не организовали процесса-монстра: они делали вид, что игнорируют группу, но постепенно десять из пятнадцати ее членов были или осуждены, или помещены в психушки, а сейчас почти все в эмиграции. Но психологический барьер был преодолен - и затем в рамках Движения создавались группы и комитеты. Мы шли по Новоарбатскому мосту с Анатолием Шубом, корреспондентом "Вашингтон Пост", Москва-река была еще покрыта льдом, но видно было, что вот-вот начнется весна. Я просил написать статью о Яхимовиче, он сказал, что напишет, но вообще все это немножко неудачно, он ждет больших перемен в советской политике - и не хотел бы быть последним высланным из СССР журналистом. Увы, он не был последним. Тогда, однако, он говорил, что экономические трудности, с одной стороны, и необходимость договоренности с Западом, с другой, заставят прагматическую часть советского руководства пойти на либерализацию. Уже велись переговоры с Эгоном Барром о германском договоре - и казалось, что СССР должен будет хотя бы слегка измениться, чтобы найти общий язык с Западом. Шуб, как американец, слишком верил в разум, тогда как

советская система в своей основе безумна; она как параноик, действует логично, но исходит из безумной посылки. Я понимал, что Шуб осведомлен больше меня, но слушал его скептически: если и были "наверху" хотящие реформ прагматики, не они задавали тон, внутренняя обстановка говорила об обратном. Шуб разочаровался очень быстро, придя к выводу, что "Россия поворачивает стрелки часов назад", но его книга появилась в момент нетерпеливого ожидания разрядки и потому замечена не была. Даже я в 1972 году надеялся на либерализацию, хотя мне - после того как меня пятнадцать лет пинали ногами - следовало бы лучше знать свою власть. Нет, этот режим не стал приспособливаться к Западу, он заставил Запад приспособливаться к себе, а свои экономические трудности смягчил с помощью льготных западных кредитов, технологии и зерна - зачем же нужны были реформы? Если применению силы, так недвусмысленно показанной в Чехословакии, СССР обязан приобретению такой приятной вещи, как разрядка, зачем же отказываться от показа силы, по блатной поговорке: бей своих, чтоб чужие боялись. Я считал, что из-за косности руководства СССР рано или поздно переживет такой же кризис, как и Российская империя в 1904-18 годах, причем роль Японии и Германии сейчас сыграет Китай. Еще в 1967 году я в осторожной форме написал в две советские газеты и даже получил ответы - бессодержательные, но вежливые (*). Теперь я был раз развивать эти идеи перед Шубом, я сказал ему, что думаю написать книгу "Просуществует ли СССР до 1980 года?". Я взял этот год как ближайшую круглую дату, к тому же мне было только тридцать, а для молодого человека десять лет кажутся огромным сроком.

(* "Китай начнет войну, - писал я, - с удара по гораздо более слабому противнику. Скорее всего первый удар будет нанесен по одной или нескольким слаборазвитым странам к югу от Китая, некогда входившим в сферу китайского влияния. Это будет своего рода пробным шаром, который позволит Китаю проверить реакцию великих держав..." Вторжение во Вьетнам в 1979 году подтверждает, пожалуй, сделанное двенадцать лет назад предсказание. *)

Каково же было мое удивление, когда Шуб принес мне "Интернешнл Херальд Трибюн" от 31 марта со своей статьей "Доживет ли Советский Союз до 1980 года?", которая начиналась словами, что его "русский друг" собирается писать такую книгу. После этого мне не оставалось ничего другого, как сесть и писать. "Зачем же 1980-й? Тогда уж лучше 1984-й, - посоветовал мне Виталий Рубин, имея в виду роман Оруэлла "1984". Роман этот я прочел только пять лет спустя, в магаданской ссылке, поражен был пронизательностью Оруэлла и обрадован, что взял дату из такой замечательной книги. Но добавил я режиму четыре года сроку только в надежде, что мне четыре года сбросят, когда будут судить: не по ст. 70 УК с максимальным сроком семь лет, а по ст. 1901с с максимальным сроком три года. Я понимал, что меня арестуют за книги, но рано или поздно арестуют и без этого - и тем более нужно сделать все, что еще успею. Главное же, наступал момент, когда я чувствовал необходимость высказать все, что я думаю об этом отвратительном режиме. В частности, простую, но важную вещь: советская империя, при всей ее силе и бахвальстве, не вечна, другой же вопрос, как мы будем мерить отпущенные ей сроки. Я чувствовал себя мальчиком, который собирается крикнуть: "А король-то голый!" Шубу в отделе печати МИД сказали, что его "русский друг" - это бутылка водки, с которой он беседовал, предварительно ее осушив. Но КГБ не стал рыться в мусорном ящике Шуба в поисках пустой бутылки, а решил искать "русскою друга" иначе. В апреле мне позвонил Эннио Люкон, корреспондент французской газеты "Пари-Жур", сказал, что пишет книгу о московских художниках и Борис Алексеев из АПН рекомендовал ему встретиться со мной. Я удивился, ведь Алексеев сказал, что КГБ запретил им иметь со мной дело, однако предложил Люкону приехать. Человек лет сорока, с рыскающими глазами, обильной жестикуляцией и торопливой речью, он предложил купить у меня материалы для книги, я ответил, что мы совместно могли бы заключить договор с его издательством. - Да нет, давайте прямо со мной, - горячо убеждал меня г-н Люкон, - я дам вам много-много долларов - и все останется между нами. Как раз этого я хотел бы избежать, и Люкон обещал запросить о договоре издательство и занести свои материалы о русской

живописи. "Материалами" оказались фотографии скульптур Неизвестного, а главное, самого г-на Люкона вместе с Софи Лорен и Марчелло Мастроянни, что, по его словам, должно было свидетельствовать о его порядочности. После этого, оставив в покое художников, он покачал мне статью Шуба и спросил, читал ли я ее, знаком ли с Шубом и кто этот "русский друг"? Друг этот, конечно, нужен был Люкону, чтобы дать ему "много-много долларов" за будущую книгу. Я сказал, что, к своему глубокому сожалению, не знаю, кто это. Тогда Люкон, обведя вокруг рукой, предложил купить все картины, которые у меня есть. Я ответил, что не могу продать все, но моя жена продает картины, и Люкон изъявил желание купить все картины жены. Я сказал, что будет лучше, если он купит только некоторые, - он выбрал три и, не споря из-за цены, попросил упаковать их; после этого он спохватился, что у него нет с собой денег, он привезет их завтра. Он попросил меня выйти с ним - хочет показать свою машину; подводя меня к машине, Люкон несколько раз картинно тыкал в нее рукой, у меня при этом было ощущение, что за нами наблюдают и снимают нас. На следующий день он не появился и еще неделю с лишним уваливал, пока я не сказал ему по телефону, чтоб он сегодня же вернул мне или деньги, или картины. Он ответил, что сегодня никак не может, потому что идет на прием в Итальянское посольство. Я пообещал, что сам приду туда с жалобой послу, и г-н Люкон принес картины. Я попросил его больше не приходить и не звонить.

Глава 8. "АГЕНТ КГБ" ПРОТИВ АГЕНТА КГБ

Мы обедали с Гюзель, когда внезапно услышали по коридору топот множества ног, некий инстинкт сработал во мне - я вскочил и запер дверь, тотчас раздался громкий стук и одновременно дверь дернули. - Откройте, вам повестка из домоуправления! - сказал голос. - Подсуньте под дверь, - ответил я. За дверью пошептались, погрозили мне, несколько раз дернули ручку, но дверь, видимо, ломать не хотели, я услышал, как шаги удаляются. Гюзель вышла на разведку, а я начал жечь бумаги, которые не хотел бы видеть в руках следователей. Раздались громкие звонки, и снова послышался топот ног. - Говорят, что из прокуратуры с обыском, - сообщила Гюзель. - Сколько их? - Бессчетно, забит весь коридор. - Пусть покажут ордер на обыск, - я хотел оттянуть время. - Ордер есть, - ответила Гюзель из-за двери. - Что у вас, пожар был?! - человек шесть ввалилось в комнату, пахло жженой бумагой, и летали черные хлопья. - А что ж дверь ломать не стали? - спросил я в свою очередь. - Нет, что ли, уверенности прежней, как в тридцать седьмом году? Трудно описать все унижение обыска. Я пережил их много: и личных и общих, и в тюрьме, и в лагере, и на этапе, но самые мучительные - это у вас дома, вы чувствуете, нет никакого дома, ничего вашего. Впрочем, уже визит милиционеров, которые могут вытащить вас из кровати, дает это чувство - мы годами жили с сознанием, что в любой момент вас могут схватить и сам дом растворится, как туман. Как было сказано в протоколе, обыск проводился "с целью отыскания и изъятия вещей, документов и ценностей, имеющих значение для дела". Следователь пояснил, что это дело Григоренко, но не ответил, арестован он сам или нет. Формально вел обыск старший следователь Московской прокуратуры Полянов, лет пятидесяти, весьма чиновного вида и, как кажется, к результатам обыска безразличный. Остальные себя не назвали и никаких документов не предъявили, один - постарше - указывал Полянову, что изымать. Хорошо внешне помню Полякова, этого - совершенно не помню. Указаны в протоколе также были фамилии и адреса двух понятых - по закону, они должны быть приглашены со стороны, "присутствовать при всех действиях следователя... и удостоверить факт, содержание и результат обыска". При политических делах, за редким исключением, понятые - это сотрудники КГБ. Виктор Красин рассказывал, как во время обыска у него следователь и понятые делали вид, что не знают друг друга, поехали потом обыскивать квартиру его матери - и, завидев знакомую машину на перекрестке, понятые обрадованно закричали: "Иван Иванович, наши едут!" Следователь только сокрушенно головой покачал: "Учишь их, учишь - а толку нет!" Ничего относящегося к Григоренко у меня не было, изымали мои рукописи, изданные за границей книги, пишущие машинки, чеки Внешторгбанка, которые Гюзель получила за картины, - не зря у нас, значит, побывал ценитель живописи с предложением купить "все картины". Полянов достал из стола пачку советских рублей,

приготовленных для жизни и деревне, и спросил: "Сколько здесь?" "Считайте", - ответил я, но Полянов молча положил пачку на место. Впоследствии стали изымать все деньги - при аресте Гинзбурга в 1977 году его жене и двум маленьким детям оставили несколько копеек. Самое обидное было, что забрали начатую мной рукопись "Доживет ли СССР до 1984?" - не ради нее ли и обыск затевали? Мы собирались в деревню: пол был заставлен ящиками с крупой и сахаром, банками с мясом, бутылками с подсолнечным маслом, мы запасались на полгода, потому что в деревне купить нечего. К этому добавился беспорядок обыска: переворачивали кровать, перебирали книги, приходили проститься друзья, для иностранцев вызвали чиновника из МИДа и еще гебистов в помощь, итак гебисты, гости, крупа, мука, мясо, книги, рукописи, люди, груды, опрокинутая мебель перемешались в нашей небольшой комнате, половину которой к тому же занимал рояль - тоже обысканный, так что понять ничего было уже невозможно, и я, когда какое-то мгновение никто из гебистов не смотрел на меня, вытащил папку с рукописью "СССР до 1984?" и быстро сунул ее в уже просмотренные и отложенные ими за ненадобностью бумаги. Впоследствии я написал в предисловии, что "считаю своим приятным долгом поблагодарить сотрудников КГБ и прокуратуры" за то, что они рукопись не изъяли, но мои насмешки вышли боком: некоторые на Западе приняли мою благодарность всерьез. В разгар обыска пришли Джойс Шуб - очень напугавшаяся, Генри Камм с двенадцатилетней дочерью Алисон и Юра Мальцев с прочитанной им рукописью "Путешествия в Сибирь" - ее удалось спрятать по пути в коридоре. Гюзель, чтобы показать присутствие духа, даже затеяла чай для них - хотя потом, глядя на маленькую Алисон, расплакалась. Мы расселись и пили чай на глазах гебистов, те держались сдержанно. Поведение их на обысках, конечно, варьируется - в зависимости от их личных качеств и ситуации, но они пытаются держаться так, что ничего особенного не происходит, мы с вами делаем общее дело - вы обыскиваемые, мы обыскивающие, вроде партнеров в карточной игре, и в наших общих интересах без ссор и как можно скорее эту работу закончить. Дело и шло без ссор, если не считать, что я накричал на г-на Буракова из МИДа, который предложил мне не стоять в дверях и пройти в комнату. - Приглашаете меня в свою комнату! - разорался я. - Я здесь хозяин! Вы-то не из КГБ, чтоб здесь командовать! Бураков молчал - до некоторой степени я сорвал на нем свою бессильную злость за унижение обыска. Постепенно у меня создалось впечатление, что я не буду арестован. Часам к десяти обыск кончился, иностранцы были отпущены еще раньше. Почти сразу же появились громкоголосые и возбужденные Якир и Красин, их крик и топот подействовали на Гюзель почти как обыск. "Это все не то, совсем не то", - говорила она мне тихо. Генерал был арестован утром в Ташкенте - одновременно проведено несколько обысков в Москве, но дело его было для них только предлогом. Мы планировали сначала, что на процесс крымских татар в Ташкенте выведу я, с той же ролью "офицера связи", что и во время суда над Галансковым и Гинзбургом. Петр Григорьевич, однако, сам захотел ехать. Был он дисциплинированным участником Движения, может быть, как раз потому, что он был генерал: мы приносили ему воззвание на подпись, он читал, морщился, говорил, что совсем оно ему не нравится, но раз принято решение, чтоб он подписал, он, конечно, подписывает. В деле же с крымскими татарами, сколько мы ни настаивали, чтоб он не ехал, он был неумолим: власти предупредили его, что он будет арестован в Ташкенте, и он не хотел уступать шантажу. Из Ташкента ему позвонили, что его друг срочно просит его вылететь, - оказалось, никто из друзей не звонил. Суд откладывался, Петру Григорьевичу, тяжело заболевшему, взяли обратный билет в Москву - за день до вылета он был арестован. КГБ заманил его в Ташкент, чтобы не судить в Москве: затем часто стали применять такую тактику. Григоренко провел несколько месяцев в подвале ташкентского КГБ, был, как при Хрущеве, признан психически невменяемым - и до июня 1974 года пробыл сначала несколько лет в тюремной, а затем несколько месяцев в общей психбольнице. Я увидел его снова летом 1975 года - он сохранил свой здравый ум, но с трудом говорил, едва мог читать и почти не мог писать. Обыск у нас был седьмого мая, а через день мы уехали в деревню - и провели там счастливо семь месяцев. Не могу сказать, что за это время КГБ забыл о нас - но временами мы забывали о КГБ, дача в России - это

тоже форма эскапизма, нам кажется, что вы ушли не только от городской жизни, но и от советской власти. Главные заботы начались с ремонтом дома, эта прозаическая вещь сама по себе может быть темой для саги. Вы не можете купить ничего. Цемент, кирпич, доски, кровельное железо, трубы, стекло государство - единственный легальный торговец - частным лицам практически не продает. Но вы можете "достать": цемент - у рабочего, который увез машину цемента с завода и продает у себя дома, трубы - у слесарей, которые ремонтируют государственный водопровод, доски - у продавщицы лесосклада из колхозных запасов. Получая от меня деньги, она сказала: "Сама тюрьмы не боюсь, детей жалко", - и пришлось на детей дать еще пятерку. Цены тоже фантастичны. У бывшего председателя колхоза, он же бывший начальник лагеря, я купил одну доску за пять рублей; пока я на телеге вез ее, за мной бежал бывший заместитель бывшего председателя и кричал: "Доска-то колхозная" - в надежде, что я от испуга дам еще и ему на водку. Но за бутылку водки - для работяг "всеобщий эквивалент товаров" - мне трактором подтащили к дому три хлыста, еще за две бутылки распилили - за десять рублей я получил несколько кубометров досок! Если вы достаточно хорошо поймете механизм "доставания", можете "доставать" многое, но человеку нормальному заниматься этим тяжело. Еще труднее обстоит с рабочими. Государственный подрядчик не будет строить или ремонтировать частный дом; хорошо, если поблизости есть государственная или колхозная стройка и рабочие согласятся "подрботать" - но если ее нет? В нашем районе было всего два вольнонаемных плотника, им удавалось уклоняться от государственной службы, потому что один был старый и хромой, а другой молодой и дурной: во время призыва на военную службу он сорвал погоны с военкома, попал в лагерь на три года, но от армии освободился. "Вот у меня образования четыре класса, - сказал он мне гордо при первой встрече, - а давай поговорим о чем хочешь!" Ты вроде меня, голубчик, подумал я, я тоже без всякого образования говорю и пишу все, что в голову придет. Настроены плотники были антисоветски. "Все знаем, все понимаем, поделывать ничего не можем", - говорил старший. Плотники были завалены заказами и взялись работать у нас более из любопытства. Пропадали они совершенно неожиданно - стоило кому-то выставить им водку. Гюзель пошла по ягоды с соседской девочкой, наклонилась над оврачком, чтобы сорвать ягоду, - а там лежит пьяный и сладко спит наш плотник. Они его с трудом с помощью знакомого шофера втащили в кузов машины и вместо ягод вывалили перед нашим домом на лужайке. Он еще несколько часов проспал - и, проснувшись, с веселыми песнями как ни в чем не бывало принялся строгать доски. Здесь я наблюдал то же, что и в Сибири: пьянство - самую характерную форму народного эскапизма - и апатию, хотя уровень жизни возрос. Захожу в дом к трактористу: под новым большим телевизором гадит маленький поросенок, не приходит в голову, что можно хлев утеплить, рядом с поросенком дыра в полу. - Что ж дыру не заделаешь? - спрашиваю я. - А чего там, все равно через несколько лет в другую деревню переедем. Воскресенье, я окапываю яблони в саду, подходит мужик и долго тупо смотрит на меня через забор. - Делать нечего? Ты б пошел у себя в саду поработал. - Да бабы там уже вскопали чего-то, - тоном, полным равнодушия. Раза два привозил нам колхозный конюх сушняк на топку. В третий раз подъезжает пустой: "Не дашь ли три рубля задатку - завезу сушняк завтра". Даю ему три рубля - но, Боже, что я наделал! Конечно, ничего он нам больше не привозит - это еще не большая потеря, хотя сушняк нам бы пригодился. Конечно же, он не отдает три рубли - это потеря еще меньше. Но он распускает обо мне славу как о человеке, который так - за здорово живешь - дает три рубля. И вот к нам начинают заявляться мужики, прося, умоляя и требуя дать им три рубля, и многие уходят с угрозами - так как денег никому я уже больше не даю. Повалился к нам бывший секретарь райкома - он запил, когда его жена бросила, понизили его сначала до редактора местной газеты, а когда он до того пропился, что стал ходить в пальто сбежавшей от него жены, сунули в колхоз заместителем председателя - я "коллеге-журналисту" всегда стакан водки давал. Осенью нас обокрал пастух, заходивший "попить водички", - срезал часть электрокабеля и утащил из сарая поразившие его воображение садовые инструменты. Дело решилось патриархально, с помощью председателя сельсовета украденные вещи нашлись,

мать пастуха в виде компенсации преподнесла мне десяток яиц, и мы с ней отвезли все назад. "Хорошая у тебя жена, - говорила она мне, пока наша лошадка бежала вдоль березовых посадок по первому снегу, - только что ты на нее все кричишь, все кричишь?" И, подумав, добавила: "А впрочем, с нашей сестрой иначе нельзя, иначе мы быстро на шею сядем!" Народ пастуха осудил, но, как говорит русская пословица, "не за то, что крал, а за то, что попался". Я мылся на кухне в корыте, поливаемый Гюзель, как поливают цветы: из лейки, и услышал ржанье и топот коней, дверь распахнулась, и вбежал окровавленный человек в разодранной одежде. Голый и в мыльной пене, я бросился к нему и схватил его за руки - я думал, он хочет убить нас. Но он в ужасе кричал: "Спасите! Меня хотят убить!" Я откинул люк подпола - и почти тут же в дом устремились возбужденные мужики, размахивая дрекольем: "Где Митька?!" - "Спросил дорогу и побежал в поле. Уходите, вы напугали мою жену". Недоверчиво оглядываясь, мужики вышли. Я оделся - голым себя чувствуешь наиболее беспомощно, - достал ружье и мужика через час из подпола выпустил. Оказалось, были они с братом в чужой деревне в престольный праздник, подрались с кем-то - вот за ними местные и кинулись. В солнечные дни я работал в саду, а в дождливые садился за свою книгу. Ожидание ареста, разочарование, вызванное концом "пражской весны" и репрессиями, сказались на ее апокалипсическом тоне. Отчасти она была задумана как ответ Сахарову, и интересно прочесть нас одного за другим. Принадлежность Сахарова к истеблишменту, отсутствие опыта преследования, воспитание в научной среде и занятия наукой, вера во врожденное благородство людей в такой же степени отразились на его брошюре, в какой социальная отверженность, опыт ссылки, поэтическая интуиция, скептическое отношение к социальной роли науки и сознание человеческого несовершенства - на моей. В доме не было ни электричества, ни письменного стола, так что я писал при свечах на доске, положенной на два ящика, - как маршал Даву, подписывающий приговор Пьеру Безухову. Я не думал тогда, что книжка выйдет на многих языках и, что называется, "сделает мне имя", я был бы рад, если бы ее прочли десять-двадцать советологов. К концу июня рукопись была готова, и я поехал в Москву передать ее Генри Камму. - Что вы делаете! - сказал пораженный Генри, узнав название. - Они вас наверняка посадят в психушку! - Не посадят, - сказал я. - Я буду подчеркивать, что получил и хочу получить за книжку как можно больше денег, а с точки зрения наших властей любовь к деньгам - лучший признак здравомыслия. - Как вы, получая ежемесячно восемьсот рублей в военной академии, стали писать эти бумажки - и теперь как грузчик зарабатываете восемьдесят? спросил психиатр у Петра Григоренко. - Мне дышать было нечем! - ответил он и увидел, как радостно загорелись глаза у врача: точно сумасшедший! Удалось власти воспитать "нового человека", все понимание которого - на уровне желудочных интересов. "Маленький человек" - любимое дитя печальной русской литературы - стал "большим начальником", сохранив всю мелкость своих интересов. У тех же, кто о моих гонорах не знал, первая мысль была: "Психиатр вас осматривал?" так много лет спустя спросил меня чиновник паспортного отдела, глянув в приговор. Не исключаю, что высокое начальство еще и потому сочло меня нормальным, что как раз, когда я писал свою книгу, оно действительно, если верить воспоминаниям г-на Холдемана, планировало ядерный удар по Китаю. Второй экземпляр рукописи я передал одной голландке 4 июля, на приеме у американского посла. Мы впервые были приглашены на такой прием в 1967 году, но приглашение дошло с опозданием, и мы пошли по нему из любопытства на следующий год, когда нас, собственно говоря, не приглашали. Вообще же 4 июля так много народу сразу проходит в ворота особняка, что может пройти любой: мы только издали показали милиции белую бумажку. Конечно, в обычные дни совсем не так, посольство и резиденцию посла США охраняет даже не милиция, а чины КГБ в милицейской форме, а в домах напротив, сидят так называемые "кукушки", наблюдая за входом. Мы оказались в конце столь привычной русскому глазу очереди, которая медленно втягивалась в глубь дома, где несколько мужчин и женщин с усталыми, но приветливыми лицами пожимали руки. После этого под звуки военно-морской музыки все разбредалось по большому залу и двору, обнесенному каменной стеной. Во дворе были расставлены

павильончики, дети дипломатов предлагали выпивку и закуску под названием "горячая собака". Мелькали порой знакомые лица, и толстая фигура Костаки маячила, но большинство мне было незнакомо, и вдруг я увидел своего старого друга Зверева под ручку с какой-то дамой. Дама махала руками и была несколько навеселе, но когда я строго спросил ее, кто она такая, все немножко испугались: оказалось, что это г-жа Томпсон, жена посла. Это для меня было странно, я представлял себе, насколько должна быть надута собственной важностью жена советского посла в Вашингтоне. В разгар моей борьбы против ссылки раздается звонок в дверь, типичный гебист протягивает повестку - но нет, это не повестка на допрос, а приглашение на вечер в связи с отъездом американского посла. Гюзель написала портрет его младшей дочери - очень тонкий, мы видели его недавно в Вашингтоне. Когда я смотрел на подсобный персонал американского посольства, я чувствовал себя, как на Лубянке. У шофера посла был вид, по крайней мере полковника КГБ, как-то в дождь - а в доме посла не нашлось зонтика - он отвез нас за триста метров домой. Вези, думал я, служба есть служба - и он, вероятно, так думал. Поскольку рукопись "СССР до 1984?" была передана для публикации 4 июля 1969 года - в день американского национального праздника, то подписал ее к печати Карел 7 ноября - в день советского национального праздника, чтобы таким образом содействовать сближению и взаимопониманию двух великих народов. Он указал также, что книга "соответственно Основному Закону Королевства Нидерландов и Конституции СССР напечатана без предварительной цензуры" - и действительно, в советской конституции слово "цензура" ни разу не упомянуто. О предстоящем издании я услышал по радио "Свобода" и через несколько дней получил письмо от неунывающего г-на Люкона, он читал в "Нью-Йорк Таймс" о моей книге и предлагает свои услуги для ее издания. Я ничего не ответил, но как только я вернулся в Москву, он тут же позвонил мне, даже после моего ареста он пришел к Гюзель - она его не впустила. Письмо Люкона было не единственным сигналом, что обо мне не забывают. Соседи рассказали, что прошлой осенью приезжали "люди в штатском", дом наш со всех сторон осматривали, а о нас сказали: "Вы их больше не увидите! Теперь по вечерам около дома стали появляться фигуры - и исчезать при моем приближении. В октябре вдруг подкатили две машины, первая мысль: "За мной!" Но это был директор совхоза, - наш колхоз был росчерком пера переделан в совхоз, - начальник райсельхозуправления и третий, назвавшийся его "братом". Директор смотрел как-то боком, начальник управления тоже чувствовал себя неуютно, зато "брат" был заметно воодушевлен. Пробыли они у нас минут пять, выпили по рюмке, и "брат" на прощанье сказал: "Мы еще много будем встречаться с вами, Андрей Алексеевич" - оборотная сторона "Вы их больше не увидите". Через два дня директор совхоза выписал мне несколько листов кровельного железа - так сказать, компенсация за привоз "большого брата". За новым столом, сколоченным бесшабашными плотниками, я писал письмо, очень важное для меня. Летом мы услышали, что советский писатель Анатолий Кузнецов, выехав в Англию писать роман о Ленине, попросил там политическое убежище. Он откровенно рассказал о причинах своего бегства, о литературном конформизме и даже о том, как стал агентом КГБ. Как их завербовали - одного в лагере, другого на свободе - мне известны признания двух русских писателей. Видимо, нелегко им было об этом писать, и сделали они это, чтобы наглядно показать, как действует постыдный механизм насилия. Мне кажется их честность героической - однако и воля, и моральная позиция обоих оказались разными. Пафос статей Кузнецова в том, что "не было дано иного выбора". Но выбор был. Насилие - как правило, а не как исключение - возможно там, где есть готовность насилию подчиниться; где начинается сопротивление, насилию постепенно приходит конец. Конечно, весьма непросто вопрос о степени сопротивляемости, человеческая натура несовершенна. Я, например, ответил следователю, что скажу, у кого взял машинку и бумагу, если меня подвешат за ноги и будут бить, - я понимал, что у моей сопротивляемости есть границы. Конечно, иногда получается как у Ноздрева, который показывает Чичикову границы своего поместья и говорит: до этой границы все мое, а что ты видишь дальше - это тоже все мое. Один блатной рассказывал, как его повесили в милиции за ноги и били, чтоб

назвал своих сообщников. "Я б их давно назвал, мне плевать на них было, - говорил он, - но зло брало на тех, кто меня бил, и потому молчал". Дойдя до некой границы и пережив кризис, человек может найти в себе новые силы. Но где граница? Любой честный человек не только может, но и должен дойти до границы неучастия. Если вы не можете быть против системы насилия, по крайней мере не будьте за! По счастью, я знаю уже примеры, когда почтенные доктора наук, которые никогда не подписали бы письма в защиту Сахарова, тем не менее уезжали даже на уборку гнилой картошки, чтобы только не подписывать письма с его осуждением. Как всякий слабый человек, Кузнецов искал сочувствия и был недоволен, что многие на Западе холодно отнеслись к его жалобам. "Чем спокойнее и объективнее мы будем освещать положение и чем менее драматично указывать "прогрессивной западной общественности" на ее нечестность по отношению к нам, тем скорее мы сумеем разрушить ту фальшивую репутацию, которую сумел создать себе за границей существующий у нас режим, - писал я ему. Мы не вправе осуждать этих людей за то, что их собственные проблемы волнуют их больше, чем все наши страдания, тем более мы не вправе требовать, чтобы они влезли в нашу шкуру и на себе испытали, каково нам приходится. Но мы вправе сказать им: если вам дорога не только свобода для вас, но вообще принцип свободы, подумайте, прежде чем ехать для "интеллектуального диалога" в страну, где извращено само понятие свободы". Некоторыми мое письмо было понято как упрек Кузнецову не за его "философию бессилия", а за бегство - единственное, в чем Кузнецов проявил характер. "Если вы как писатель не могли работать здесь, - писал я ему, или публиковать свои книги в том виде, как вы их написали, то не только вашим правом, но в каком-то смысле и вашим писательским долгом было уехать отсюда". Кузнецов ответил мне через четыре года - когда я сидел в Магаданской тюрьме - статьей "Доживет ли Амальрик до 1984 года?". Он писал, что не отвечал раньше, боясь повредить мне, - это неправда, мне не могло повредить то, что мне отвечают, да он ведь и не считал, что его ответ повредит мне теперь. Статья была повторением все того же: борьба бесполезна - вот же Амальрик сидит, легко сломить человека - вот же Якир покаялся, и других ждет то же самое, а значит, "иного выбора не дано". - Будут сажать! Теперь будут сажать! - сказал Илья Глазунов, показывая номер "Экспресса" с изложением "СССР до 1984?" - значило это, что рассерженные власти посадят не только меня, но начнут сажать кого ни попадя, это была первая реакция истаблишмента. Но и некоторые диссиденты встретили мою книгу с горечью, а известность - как "незаслуженную славу". "Эта книжечка, - пишет один недавний эмигрант, - не представляет собой ровно ничего замечательного, кроме того, что она создала всем противникам Советского Союза приятную иллюзию: авось, действительно скоро развалится... Именно ради этой приятной иллюзии вашей книжечке сделали на Западе рекламу, а позднее вам оказали прием как знаменитости". Редактируемый Роем Медведевым "Политический дневник" дал такую оценку: "О наших делах Амальрик пишет как иностранец, как бы издали... Все эти псевдонаучные и псевдоглубокомысленные рассуждения столь же примитивны, как и многие другие рассуждения западных "знатоков" о природе русского народа..." Аннотация в "Хронике текущих событий" и упомянутые там отклики были если не негативны, то во всяком случае очень сдержанны (*).

(* Последнее издание "Просуществует ли СССР до 1984 года?" вышло в 1979 году, десять лет спустя, скорее подтвердив мои предсказания, в частности о либерализации Китая и его партнерстве с США. *)

Я получил также несколько бранных писем, без подписи, если не считать подписью - "группа комсомольцев", и ко мне стали заходить незнакомцы, иногда из провинции, прочитавшие "СССР до 1984?" в самиздате или услышавшие по радио. Помню двух друзей - марксиста и православного, - оба были выгнаны с работы, не проголосовав за одобрение оккупации Чехословакии, но никаких контактов с Демократическим движением не имели. Марксист по передачам Радио "Свобода" перепечатал брошюру Сахарова, сделал синьки и распространял на свой страх и риск - мне этот пример показал, что самиздат расходуется шире, чем я думал. К чести моей надо сказать, что никогда этих незваных гостей не

принимал я за подосланных агентов - и не ошибся. Бывали курьезы: раздаётся звонок, в дверях биолог, которого я встречал у Есенина-Вольпина и Григоренко. - А, и вы здесь, - говорит он несколько разочарованно. - Я хотел бы видеть Амальрика. - Я Амальрик. - Нет, мне нужен историк Амальрик, - с важным видом ответил гость. А одна писательница, встретив меня на вечеринке, воскликнула разочарованно: "Так это вы Амальрик! А я думала, это великий человек!" Скорее негативной была реакция - не всех, конечно, но многих на Западе. На Радио "Свобода" долго не хотели транслировать "СССР до 1984?" за "антирусскость". Как мне рассказали, дело решилось, когда во время одного из обсуждений вбежал "русский патриот" с моей фотографией: "Я же говорил, что Амальрик еврей!" - после этого американское руководство станции стало на мою сторону. Некоторые советологи испытали раздражение, что вдруг неожиданно как чертик из табакерки - выскочил молодой человек, никому не известный, без образования, без знания языков, чуть ли не из глухой деревни - и начал опровергать выношенные годами теории, даже самым фактом своего существования. И само собой напрашивалось объяснение, что это не может быть все так просто, а что это какой-то коварный замысел - по одной версии выходило, что я сам скорее всего агент КГБ, по другой - что я был использован КГБ помимо моей воли. Тем самым объяснялось и странное пророчество о развале СССР до 1984 года: КГБ хочет усыпить бдительность Запада, все равно, мол, СССР скоро развалится, не стоит тратить деньги на оборону. Была версия, что моя связь с КГБ значительно повышает ценность книги, сигнализируя о сомнениях в советском руководстве. Мне кажется, что если бы действительно моя книга была делом рук КГБ, ее значение снизилось бы: в моем случае это был честный анализ, в случае КГБ - попытка дезинформации. Появление статей с намеками, вопросами или прямыми утверждениями, что я агент КГБ, было только преданием гласности слухов, которые ходили давно среди иностранных корреспондентов и "либералов", а с весны 1968 года среди части диссидентов. Хотя я понимал неизбежность слухов - не обо мне одном они возникали, - меня раздражало, что меня считают агентом системы именно потому, что я борюсь с ней. Подозрение в осведомительстве и провокации - это ржавчина, разъедающая советское общество. Действительно, много провокаторов работают на КГБ, но взаимное подозрение - самый опасный провокатор. Единственно, как можно с этим бороться, - никого не обвинять, что он агент КГБ, на одном том основании, что он им мог бы быть. К сожалению, нет критерия, который позволил бы заранее определить это. Осведомителя может выдавать излишнее любопытство, но и совершенно честный человек может быть любопытен; я заподозрил знакомого, у которого была привычка все у меня на столе трогать и переворачивать, но, быть может, это просто привычка нервного человека, я и за собой иногда замечаю, что беру какой-то предмет и бессмысленно верчу в руках. Провокатора может выдать желание подтолкнуть вас на опасные действия мы в 1968 году сочли бы провокатором того, кто предложил бы угнать самолет. Но, с другой стороны, это могло бы свидетельствовать просто о решительности и непонимании принципа ненасильственных действий - было ведь несколько групповых угонов без провокаторов. Почтенная писательница Вера Панова считала Бориса Пастернака опасным провокатором за то, что он написал "Доктора Живаго" и вызвал тем самым гнев властей против интеллигенции, часть интеллигенции все Демократическое движение считала провокацией КГБ, в лучшем случае бессознательной. По мнению г-жи Бронской-Пампук, немецкой коммунистки, побывавшей в сталинских лагерях, весь самиздат - хитрая провокация КГБ для введения в заблуждение за границы. При этом каждый "подозреватель провокаций" склонен несколько переоценивать важность того клана, к которому сам принадлежит и против которого якобы провокация устраивается. Конечно, интуиция иногда совершенно безошибочно указывает: этот человек стучит. Мне двенадцать лет, в школе я слышал, что мы живем в самом счастливом и свободном обществе - и ничто из того, что я вижу собственными глазами, этому не противоречит, я еще не знаю, что тринадцать лет назад был расстрелян мой дядя, что десять лет назад попал в лагерь отец, тем более не знаю, что через год попадет в лагерь другой дядя; веселый и счастливый я гуляю по Тверскому бульвару и, интересуясь уже тогда высокой

политикой, на карманные деньги покупаю газету "Британский союзник" - только через месяц она будет закрыта "по просьбе трудящихся", о чем я тоже еще не знаю - и сажусь прочесть, что пишут о войне в Корее. И вот ко мне подсаживается в черном пальто и кепке - тогда все так ходили - очень приветливый гражданин и, как со взрослым, что должно мне льстить, заводит разговор, что я думаю о войне в Корее и как же так, у нас в газетах пишут одно, а здесь совсем другое? Я уже славлюсь своей бестактностью: на работе у мамы - к ее ужасу я сказал, что мне нравится Черчилль, в школе заявил - к ужасу учительницы, что не хочу быть пионером. Но сейчас, несмотря на обращенную ко мне поощряющую улыбку, я - каким инстинктом? - понимаю, что с этим человеком не надо говорить, я понимаю это настолько отчетливо, что, пробормотав что-то невнятное, встаю и ухожу. Когда я это писал, я вспомнил другой эпизод, может быть, он дает какое-то рациональное объяснение первого. Мне восемь или девять лет, я выхожу из школы после вечерней смены - мы занимались тогда посменно из-за недостатка места, в Хлебном переулке уже темно, редкие желтые круги на снегу от качающихся на проводах лампочек, на углу куча прохожих, пугливая, но любопытная: несколько милиционеров и людей в черном сажают в черную машину человека, по виду рабочего, тоже в черном; кажется, все даже ждали несколько минут, пока машина подъедет. Мне уже неоднократно приходилось видеть, как на улицах милиция забирает пьяных: иногда это бывает очень весело, пьяный кричит какую-нибудь чушь. публика хохочет, и даже милиционеры добродушно улыбаются. Но я чувствую, что сейчас происходит что-то жуткое, что забирают не пьяного или пусть даже пьяного, но не за то, что он пьян, - как мне становится известно, или сказал кто-то в жалкой кучке любопытных, или я сам каким-то чудом понимаю это, но я понимаю, что этого человека забирают за то, что он только что вот здесь что-то сказал, я понимаю также, что его не отпустят на следующее утро, оштрафовав как пьяного, у меня такое чувство, что этого человека увозят сейчас - навсегда. Однако и интуицию не надо переоценивать. Вам может внушить неприязнь человек вовсе не потому, что он стукач, а потому, что он неприятно сморкается или плюется или не верит в идеи, выношенные вами в муках. С другой стороны, первое интуитивное впечатление может размываться, и какая-то сторона человека заслонит ту, опасную, которую вы почувствовали, но о которой потом забыли. Интуиция, однако, всегда безошибочно указывает на чужака - чужак не разделяет ваших ценностей, придерживается иного стиля поведения и, как вам часто кажется, склонен думать, что он лучше вас. Чужак, или даже чудак, мотивы которого вам не всегда ясны и понятны, это опасное явление. "Бойтесь непонятного!" - сказал один русский марксист - и все боятся. Более понятно, но и более неприятно, если вам кажется, что кто-то относится к вам с чувством превосходства; даже неприязнь бедняков к богачам коренится, по-моему, не столько в зависти к деньгам, сколько в опасении, что богачи относятся к беднякам с пренебрежением. Я был чужаком в Движении, как я был чужаком в школе, в университете, а позднее в лагере. Моя привычка немного подшутить над людьми, конечно, не была прямым свидетельством, что я агент КГБ, но хорошо укладывалась в образ циника, для которого нет ничего святого. Мне еще с детства делали упрек, что я считаю себя лучше других, - это неправда, я встречал людей, которых по их моральной стойкости, бескорыстию и готовности помогать другим я считал гораздо лучше себя. Если у меня бывало чувство превосходства, то не от сознания, что я лучше, а из уверенности быть может, иллюзорной, - что я гораздо лучше многих понимаю происходящее. Мотивы иностранных корреспондентов были проще: они считали за данное то, что, во-первых, русские боятся общения с иностранцами и что, во-вторых, КГБ будет подсылать к ним агентов. В этом взгляде не было ничего нелепого, однако он гиперболизировался как страхом, так и преувеличением своего значения и потому мешал понять, что появились, наконец, русские, которые сами хотят изживать свой страх и свою изоляцию. Наконец, мое поведение было вызовом советским "либералам" - то есть тем, кого властям надо было подхлестывать, в то время как "консерваторов" придерживать, чтоб упряжка шла ровно. Еще более, чем западные журналисты и советологи, они считали советскую систему построенной на страхе, и появление тех, кто словно бы этим страхом пренебрегал, казалось им личным оскорблением:

как "они" смеют делать то, что "мы" боимся! Какой-то молодой человек - не к их кругу принадлежащий и никем сходящим в гроб не благословенный - написал ни более ни менее, как "Просуществует ли СССР до 1984 года?" - это было вызовом не только режиму, но и всем, кто примирился с мыслью, что режим будет существовать вечно. Единственное объяснение: агент КГБ! Постепенно самым решающим доводом становилось: он до сих пор не арестован! Для Запада это была скорее аналитическая проблема, но для России моральная: если можно такое написать и остаться на свободе - значит, "мы" зря молчали?! И когда я был все же арестован, один почтенный человек радостно закричал: "Наконец-то!" Мне же первый сокамерник сказал: "Служба есть служба. Кто работает в КГБ - может и в тюрьме посидеть, да и выслуга лет идет быстрее".

Глава 9. ОЖИДАНИЕ

Другой проблемой, казалось бы, более приятной, было получение гонораров. Оказалась она, однако, довольно сложной - для меня, а для других - на моей ли стороне они были или против - совершенно фантастической: как, он еще добывается денег?! Советским гражданам запрещено иметь иностранную валюту: так или иначе ее получив, они обязаны обменять ее, причем безвозвратно, на валюту внутреннюю. В нашей стране, окончательно покончившей с социальным неравенством, существует пять мне известных типов внутренней валюты: 1) обычные рубли ими большинство советских граждан получает заработную плату и расплачивается в обычных магазинах от Бреста до Чукотки, но не может сунуться с ними в валютные; 2) сертификаты в/о Внешпосылторг с синей полосой - их советские граждане получают в обмен на валюту "социалистических стран"; 3) сертификаты с желтой полосой - их советские граждане получают в обмен на валюту "развивающихся стран", на эти два вида можно покупать товары в валютных магазинах, но не все; 4) бесполосные сертификаты - их советские граждане получают в обмен на валюту "капиталистических стран", т. е. на свободно конвертируемую; 5) чеки серии Д Внешторгбанка СССР - их взамен на свободно конвертируемую валюту получают иностранные дипломаты и корреспонденты, а также советские дипломаты, эти два вида наиболее привилегированные, на них в валютных магазинах вы можете покупать все, что там есть. На сертификатах стоит штамп, что их нельзя продавать, но поскольку они не именные, можно их передавать другим, равно как и чеки серии Д. Бесполосные сертификаты широко обращались на черном рынке, и с 1966 по 1976 год - по мере того, как на Западе развивались кризис и инфляции, а СССР все более процветал - цена на сертификат поднялась с 4 до 8 рублей, а некоторые горячие головы платили и 10. Система разных валют и цен давала огромные возможности для спекуляции, в которую втянуты были в первую очередь работники валютных магазинов. Оперативники, ловя тех, кто получал сертификаты "незаконно", имели свой кусок: часто, конфискуя сертификаты, они просто присваивали их. На двух обысках у меня изъяли триста валютных рублей - по окончании следствия они были Гюзель возвращены, так как невозможно было предъявить какое-либо обвинение. Но когда она пошла с ними в магазин оперативники у нее тут же часть денег отобрали и даже оштрафовали ее. Нас вдвоем они никогда не трогали. Получаемые из-за границы деньги делились на три категории: 1) наследство; 2) подарок; 3) гонорар. Не знаю, какой налог взыскивали за наследство, за подарок брали 35%, за гонорар - если я не ошибаюсь - на 5% меньше. В октябре 1968 года голландский журнал "Тираде" напечатал первую главу "Путешествия в Сибирь". Весной я попросил перевести мне мой маленький гонорар через Внешторгбанк СССР, посмотреть, что получится. Довольно скоро я получил письмо от банка, что на мое имя поступили деньги из-за границы - сумма не указана - и я могу прийти за ними в такие-то дни и часы. В банке на Неглинной Гюзель и я были с тех пор многократно, нас обоих знали, но каждый раз происходил один и тот же разговор. - Вам поступили деньги из-за границы. Вы от кого ждете? - так опрашивают в тюрьме, когда вам поступает посылка или денежный перевод. - Это я от вас надеюсь узнать. - Вы сами должны знать, кто вам посылает, - и затем происходит долгое пререкание, пока или служащий не скажет вам, или вы сами не махнете рукой: деньги есть деньги, кто бы ни послал. Вам называют сумму и предлагают или получить советскими рублями, или

перевести деньги во Внешпосылторг, в обоих случаях за вычетом 2% для банка. Учитывая реальную стоимость обычного рубля и сертификата, никто, думаю, рублей не брал. В 1975 году была введена новая система, чтобы лишить евреев и диссидентов денежной помощи из-за границы: все, кто не имел разрешения Министерства финансов СССР, обязаны были получать рублями, за вычетом 30% налога, ощутимая разница при соотношении обычного рубля к валютному 1:8. Вы расписывались, что просите перевести ваши деньги во Внешпосылторг - и через неделю могли идти за ними, не имея никакой квитанции. В одной конторе смотрели ваш паспорт и давали жетон, а в другой, выстояв в очереди, вы получали сертификаты. Первый раз я безропотно получил свой гонорар как "подарок", тогда же мне разъяснили, что нужно предъявить справку, подтверждающую, что эти деньги действительно гонорар. Поэтому я попросил своих американских и французских издателей прислать мне письма, что переведенные ими деньги - аванс за книги. - Гонорар? Подарок? - отрывисто спросила девица за барьером. - Гонорар! - гордо сказал я. - Давайте справку! - и, взяв письма, девица посмотрела на меня проверяюще, не сошел ли я с ума. - Нам нужна советская справка! - Но мне не советские издательства переводят деньги. - Нам нужна справка от советского учреждения, через которое вы ваши рукописи посылали за границу, - разъяснила мне она, как маленькому, но все же направила к начальнице отдела, и мы слово в слово повторили тот же самый разговор, как игроки в шахматы в патовом положении. Начальник Внешпосылторга оказался ее полной противоположностью: она была женщина - он мужчина, она худая - он толстый, она держалась сухо - он добродушно, но разговор был такой же. - Мы по инструкции без справки гонорар оформить не можем. - А нельзя ли посмотреть инструкцию? - Мы ее показать не можем. Вы говорите, вы вашу рукопись сами передали за границу - что ж это у вас там за статья или книжка, как называется? - "Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?". При этих роковых словах мы оба очень внимательно и долго посмотрели друг на друга. Весь опыт говорил начальнику, что автор книги с таким названием, передавший ее к тому же за границу, должен исчезнуть бесследно, а не с наглым видом требовать деньги, и поскольку все это было так чудовищно и так выходило за рамки здравого смысла, то он искал и этом еще какой-то более глубокий смысл - и тоже, видимо, опыту его не противоречащий. - И что же?.. Что вы там пишете? - спросил он наконец. - Познакомьте меня с вашей инструкцией - тогда я вас со своей книжкой, баш на баш. - Ха-ха-ха. Но мы вообще-то коммерческое предприятие, можем свой товар сертификаты - продать, а можем и попридержать. - Так вы, выходит, анархист - хочу так, хочу этак. Нет, советский закон един для всех! - и, посмотрев, какое впечатление на него произвел упрек в анархизме, добавил. - Единственное советское учреждение, которое интересуется моей книжкой, это КГБ, да и то сомневаюсь, что он даст справку. Произнесено, видимо, было то волшебное слово, которое так и этак ворочалось уже в голове начальника: он, как и многие другие, подумал, вероятно, что если я на свободе, так это какая-то тайная операция КГБ - и ему нельзя сделать ложного шага. Я тоже подумал, что если он так подумает, то вдруг сгоряча мне денежки даст - а потом уж что дано, то не воротишь, что с возу упало, то пропало. Любезным голосом - он, впрочем, все время был любезен - он сказал, что позвонит в министерство. - К сожалению, никак без справки дать не разрешают, - сказал он, разводя руками и показывая всем видом сочувствие, - попробуйте поговорить во Всесоюзном управлении по охране авторских прав Союза писателей. Управление размещалось на первом этаже знаменитого дома в Лаврушинском переулке, где булгаковская Маргарита побила оконные стекла по пути на бал к Сатане. Здесь повторилось то же самое: сначала я говорил с начальницей отдела - довольно худой и сдержанной дамой по фамилии Горелик, затем с начальником управления - весьма толстым и добродушным господином по фамилии Альбанов. Я спросил г-жу Горелик, что у нее за фамилия, украинская или еврейская. - Да, еврейская, - с вызовом. - Ну вот, а говорят, что евреев не берут на работу во всякие "идеологические учреждения". - Меня, напротив, даже уговаривали, - ответила она, и чувствовалось, она обижена так, что я начал размазывать этот вопрос. Это было время, когда среди евреев еще считалось неприличным говорить при посторонних, что они евреи. Потом

все стало меняться, и может быть, она уже в Израиле. - Ну что ж, - благодушно сказал Альбанов, рассматривая мои бумаги, - с гонорарами трудный вопрос. Вот и Солженицын здесь у меня сидел, - и он указал на кресло, в котором Солженицын, я думаю, монументально возвышался, как памятник самому себе, я же, в своей красной рубашечке, совсем затерялся среди его кожаных просторов. - С точки зрения Конституции СССР вы совершенно правы, но вы вступаете на трудный, путь. Насколько я мог понять, ни он лично, ни возглавляемое им управление на этот трудный путь вслед за мной вступать не хотели. По его совету я съездил в в/о "Международная книга", занимающееся продажей советских книг за границей, вступил в переписку с министерствами внешней торговли и финансов но без успеха. Все это было как бы зеркальным отражением моей борьбы два года назад. В память об отце я решил передать гонорар за его книгу "В поисках исчезнувших цивилизаций" пострадавшей от наводнения Флоренции, пока и эта цивилизация окончательно не исчезла. Итальянское посольство, куда письмо мое, хотя и не скоро, дошло, сообщило мне номер банковского счета во Флоренции, и пошел бюрократический круговорот: МИД направил меня в Госбанк СССР, Госбанк переслал письмо во Внешторгбанк, Внешторгбанк - в Валютное управление Министерства финансов СССР, откуда я получил дословно такой ответ: "Удовлетворить вашу просьбу не представляется возможным". Советские ответы лаконичны, не содержат ненужных обращений вроде "уважаемый", и также несут в себе элемент тайны, ибо никогда не объясняют, почему именно то или иное невозможно. Здесь тайна была довольно прозрачна: власти не хотели обменивать советские рубли на конвертируемую валюту. Я все же продолжал писать письма, каждый раз получая одинаковые ответы от разных лиц, причем мы играли, если можно так сказать, втемную - никто не поинтересовался, велик ли гонорар, да и сам я до сих пор не знаю этого. Наконец, после письма председателя Совета Министров, меня пригласил начальник Валютного управления Мошкин. - Почему же советский гражданин лишен возможности сделать вклад в благородное дело помощи Флоренции? - спросил я у него. - А потому, - сказал начальник управления, - что ваши деньги - это более или менее бумага, мы с трудом, но все же обеспечиваем их обращение внутри страны, а за границей они ничего не стоят. Он пожаловался, что даже какой-то "ненормальный" требует, чтобы ему обменяли рубли на доллары для покупки воспоминаний Керенского. Я сказал, что не вижу ничего "ненормального", что кто-то интересуется историей своей страны и хочет прочесть воспоминания бывшего премьер-министра, скорее ненормально, что по такому частному вопросу он должен обращаться к начальнику Валютного управления Министерства финансов. Несмотря на дружелюбный разговор, я ушел с криком: "Нет, так больше жить нельзя!" - Можно! - кричали мне вслед Мошкин и его заместитель. - Ведь живем же! Через год сотрудники КГБ, желая меня "поймать" на торговле картинами, требовали, чтобы я составил отчет о своих доходах: - Как же так, Андрей Алексеевич, вы на почте зарабатываете 23 рубля в месяц, живете с женой на эти деньги, да еще купили домик под Москвой, как объяснить эти удивительные вещи? - Объясняйте силой нашего советского рубля! - ответил я, вспомнив разговор в Валютном управлении. - Конечно, получай я не рубли, а паршивые доллары не видать мне домика как своих ушей. - Ну, американскому налоговому управлению вы бы так не ответили, - сказал мне раздраженный гебист; у них вообще чувство неполноценности по отношению к США: и техника подслушивания там лучше, и полицейские лучше оплачиваются, и от налогового управления не отделаешься шуточкой. Да и правда, получив за эту книжку гонорар от американского издателя, совсем не знаю, какой шуткой отделаться от налогового управления. Так что к концу 1969 года у меня оказалось две денежные тяжбы с советскими властями: во-первых, я хотел послать свои деньги за границу - и они мне в этом отказывали, во-вторых, я хотел получить свои деньги из-за границы - и в этом они мне отказывали тоже. Я решил, по крайней мере, публично обругать их и послал письмо в несколько европейских и американских газет, настаивая на своем праве печататься без цензуры и получать гонорары. Я хочу, закончил я, "публично пристыдить советское правительство за проявленные скарелность и мелочность. Сталин расстрелял бы меня за публикацию моих книг за границей, его жалких преемников хватило только ни то,

чтобы попытаться присвоить часть моих денег. Это только подтверждает мое мнение о деградации и дряхлении этого режима, высказанное в книге "Просуществовал ли СССР до 1984 года?". Не все поверили в подлинность письма, особенно те, кто хорошо понимал, что Сталин действительно расстрелял бы меня, и удивлялся, что меня не расстреливает Брежнев. Но письмо это, которое могло показаться актом отчаянной смелости, было скорее результатом рискованного, но расчета. У меня накопился уже опыт общения с функционерами - работниками милиции, прокуратуры, КГБ, партаппарата, министерства финансов, Союза журналистов и т. д. Мне не приходилось иметь дело с теми, кто принимает решения, я, однако, понимал, что психология подчиненного является сколком с психологии начальника - и наоборот: единообразие системы постоянно корректируется двумя потоками: людей - поднимающихся по служебной лестнице и несущих на верх свои представления о жизни - и "идей" - того образа мышления, который складывается сверху и тщательное следование которому обязательно для нижестоящих. Так что я имел некую поведенческую модель - и исходил из нее, строя свою стратегию. Я предполагал, что раз я занимаю в советской иерархии ничтожное место студента-недоучки, то, вынужденные вести открытую борьбу со мной - открытую, ибо книга моя была уже опубликована и дело было "под контролем" иностранной печати, - власти, по своей логике, должны принижать мое значение, показывать, что и как диссидент я вызываю только пренебрежение у них. Конечно, я не мог надеяться, что они будут игнорировать меня, но они могли меня судить по одной из двух статей уголовного кодекса. Статья 70 УК РСФСР - "антисоветская агитация и пропаганда", считающаяся "особо опасным государственным преступлением", до семи лет и пяти ссылки, - серьезная и почетная; статья 1901 - "распространение заведомо ложных клеветнических сведений, порочащих советский строй", считающаяся "преступлением против порядка управления", до трех лет, - почти бытовая. Вот я и рассчитывал, что чем резче и обидней я буду нападать на власти, тем сильнее им захочется подчеркнуть мою незначительность, тем больше шансов, что привлекут меня по ст. 1901, мол, на такое ничтожество и хорошей статьи жалко. Расчет мой оправдался, но только отчасти. Будь мой случай никому не известен, мне без всяких колебаний дали бы в лучшем случае семь лет. Поэтому я хотел - в частности письмом о гонорарах напомнить о себе, чтобы не дать властям воспользоваться мертвой паузой. Общий мой принцип был тот, что лучше идти навстречу опасности, чем бежать от нее. Кроме того, меня, что называется, немного несло: неожиданный успех книги, а главное - эйфорическое состояние свободы, когда я мог говорить и писать все, что думаю, как бы приподнимали меня над землей. Что же касается гонораров, то, не желая получать их как подарок, я отослал их назад - и удовлетворил тем самым свой гордый дух. Увы, наша с Гюзель слабая плоть ежедневно требовала пищи, так что я попросил своих издателей отосланные деньги прислать на имя Гюзель, которая без споров получила их как "подарок", как подарок жене от мужа. В разгар борьбы из-за денег я узнал об аресте Виктора Красина. Он скрывался под Москвой, но как только заехал к своей сестре, буквально через несколько минут появилась милиция, вышибли дверь и вытащили его из ванны. Через пять дней - никто не знал об этом, а жена оказалась в суде случайно он получил пять лет ссылки как "лицо, уклоняющееся от общественно полезного труда", так меня сослали в 1965 году и пытались сослать в 1968-м. Прокурор и судья заявили также, что он не заботится о семье, не был на дне рождения сына, это было включено в приговор как один из обвинительных пунктов. КГБ потому так разозлило, что Красин не был на дне рождения, что рассчитывали его схватить в этот день, установили слежку за домом - и зря, вот ему это и припомнили, одновременно показав чадолюбие власти: не поздравил мальчика с днем рождения - получай срок. На следующий день мне позвонили: обыск у Горбаневской, и я сразу поехал к ней, мы старались - если об обыске удавалось узнать - не оставлять наших товарищей один на один с властями. Дверь мне открыл неизвестный, и по тому, как обрадованно он пригласил меня войти, я понял - действительно обыск. Гебисты уже потирали руки при виде новой жертвы: один карман у меня оттопыривался, словно там лежала пачка листовок. Но в пакете оказались бутерброды - Гюзель боялась, что до конца обыска я проголодаюсь, я же просто хотел

позлить гебистов; они действительно крайне разозлились, что на их обыски уже ездят с завтраками, как на пикник. Трое мужчин бросились мне в глаза, когда меня ввели в комнату: один, низенький, тощий и остролицый, суетился у стола с наваленными на нем бумагами, другой разводил руками посреди комнаты с видом гостеприимного хозяина, а третий сидел на кровати с видом философской грусти на лице, были еще какие-то молодые люди "на подхвате", но я на них внимания не обратил. - Вы - из прокуратуры, - сказал я сидящему за столом. - Вы - из КГБ, тому, кто держался с видом хозяина. - А вы, - и я попытался сообразить, откуда же третий, но ничего полицейского в его лице не было, - не знаю, просто не знаю. Один оказался старшим следователем прокуратуры Шиловым, другой оперативником КГБ Сидоровым, хоть он и был "душой обыска", но выдавал себя за капитана милиции, охраняющего Шилова от покушений Горбаневской, третий никакого отношения к КГБ не имел - это был философ Борис Шрагин, пришедший с той же целью, что и я. Пришел я в самый напряженный момент: только что Горбаневская порезала Шилову палец, и вся его протокольная физиономия выражала - увы - не страдание, а радость: ведь дело пахло если не террористическим актом, то вооруженным сопротивлением властям, нанесением телесных повреждений - или же свидетельствовало о буйном помешательстве Горбаневской. А какое следовательское сердце не порадует при таком наборе преступлений! Горбаневскую ее пятилетний сын попросил поточить карандаш, в этот момент Шилов схватил лежащий перед ней "Реквием" Ахматовой с дарственной надписью, и Горбаневская схватила эту дорогую ей книжку, не выпуская бритвы: дернув книжку, следователь слегка порезался. В таком случае ребенку смазывают палец йодом и говорят: до свадьбы заживет. Но следовательский палец ожидала иная судьба: он был внесен в протокол, фигурировал на суде и был признан одним из веских оснований для заключения Горбаневской в психбольницу. Когда на обыске у меня Шилов снова начал бубнить про свой палец, я сказал ему просто, что, по-моему, он поступил не по-мужски. Вспоминаю маленькую Наташу Горбаневскую, с ее близорукими глазами, двумя детьми, больной матерью, любовью к Ахматовой и тупой бритвой в руках, я думаю: как не по-мужски поступила с ней вся эта система, олицетворяемая внизу Шиловым и Сидоровым, а наверху неподвижными и каменнолицыми мужами на Мавзолее. Шилов тем временем завел разговор, что жизнь день ото дня делается все лучше, - слабое утешение для Горбаневской, которую собирались на несколько лет упрятать в тюрьму. Я спросил его, значит ли это, что сейчас лучше, чем двадцать лет назад. - Конечно! - воскликнул Шилов. - Выходит что же, при Сталине хуже было? Шилов замолк, а Сидоров весь напрягся, оставив на минуту бумажки и книжки. Дул уже три года сквознячок сталинизма сверху - и в "органах" ощущался он, я думаю, сильнее, чем где бы то ни было. Впрочем, скажи Шилов, что при Сталине было лучше, у меня наготове другой вопрос: выходит, вам Брежнев не нравится?! Однако Шилов, долго помолчав, ответил: "Пожалуй, сейчас жизнь все-таки получше", - после чего меня выставили из квартиры. С Горбаневской я увиделся только через шесть лет в Москве, со Шрагиным - через семь лет в Нью-Йорке, Шилова и Сидорова - увы - я снова встретил через два месяца. Шилов на прощанье сказал, что из меня получился бы хороший следователь, думаю, высший комплимент в его устах. После выхода "СССР до 1984?" я дал первые интервью американским корреспондентам: Джиму Кларити для "Нью-Йорк Таймс" и Биллу Коулу для Си-Би-Эс. Кларити говорил по-русски правильно, но очень медленно, был человек меланхоличный, усами и телом немного похожий на моржа; когда он брал интервью у меня, он так неуклюже ворочался в кресле, что оно развалилось под ним - кресло мы потом кое-как склеили и уже не предлагали американцам. Коул, напротив, был сухошавый, подвижный и нервный - было видно, что жизнь в России не для него, все принимал он близко к сердцу, по-русски он не говорил. С обоими у нас установились хорошие отношения, и мы несколько раз были у них в гостях. Американское и вообще западное гостеприимство носит характер отлаженного механизма, оно лишено элементов русской импровизации. Когда нам предлагали джин с тоником, виски или водку, ставя на стол миску с орешками, я сначала немного нервничал, думая: вот так закуска, в матушке России к водке подали бы грибки, студень, пирожки, рыбку да еще черт знает что, а здесь так

и уйдешь с пустым желудком, - однако за "дринком" следовал, к моему облегчению, обед, но уже без водки, тоже совсем не по-русски, иногда очень неплохой, но почти никогда по-настоящему хороший. Как-то нам подали торт из тыквы - тыкву мы ели только во время войны, и тыквенная каша в моем сознании связана с самой отчаянной бедностью и голоданием - помню, с какой жадностью ел я после этой каши американскую свиную тушенку, незабываемый символ ленд-лиза, и те же самые великодушные американцы додумались делать торт из тыквы, думал я. Но как раз у Кларити на обеде нас угостили жирной свининой - я вообще не люблю жирного, а Гюзель выросла в мусульманской семье, так что мы похвалили обед без энтузиазма, и Джим перевел жене, что после такого обеда я собираюсь писать протест в "Нью-Йорк Таймс". Интервью для Си-Би-Эс было первым телевизионным интервью диссидента, меня могли увидеть и услышать миллионы людей. И каким ударом было узнать, что в Шереметьевском аэропорту пленку конфисковали - впоследствии перед судом она была прокручена в качестве одного из вещественных доказательств. Я думал, что Билл смертельно напугался, но он предложил повторить интервью - я с радостью согласился, предупредив только, чтоб он не вздумал вывозить пленку сам. Я пригласил также Якира: предварительно хорошо выпив, стуча кулаком по столу, все более воодушевляясь и не договаривая фраз, на первый же вопрос он стал отвечать так пространно, что получилось не интервью, а монолог. Вскоре Билл взял интервью у Буковского, а из лагеря удалось провезти магнитофонную ленту с обращением Гинзбурга - и программа с нами четверья была показана летом по американскому и европейскому телевидению. Якир и я надеялись, что первое интервью из России будет сенсацией, но мне рассказывали потом, что Си-Би-Эс даже с некоторой неохотой пустила эту программу: все говорили по-русски, а американские телекомпании, пренебрегая возможностью получать информацию о мире из первых рук, не хотят интервью на иностранных языках: если зритель не слышит прямой английской речи, ему становится скучно. После этого я понял, почему не любят американцев. Я думал раньше, что главная причина нелюбви - зависть к американскому богатству и ощущаемая как унижение зависимость от США в деле обороны. Но гораздо более глубокая причина - это бессознательная уверенность американцев, что они могут обойтись без других народов. Средний американец - а в Америке все построено на угождении "среднему американцу" - не умом, конечно, но сердцем совершенно не сознает, что есть другие миры, кроме Америки, - и потому хочет принимать только то, что укладывается в рамки его культуры, отсюда не пренебрежение к другому языку, пренебрежения нет, но отсутствие интереса, а быть неинтересным, конечно, очень обидно. Правда, американцы ходят по Европе увешанные фотоаппаратами, но этот интерес сродни интересу к развалинам Кносского дворца, это не есть живое чувство взаимозависимости, которое и делает людей и культуры интересными друг другу. После арестов Литвинова, Григоренко и Красина самым видным и активным участником Движения оказался Петр Якир. Зимой 1969-70 годов я часто бывал у него, никаких "сред" или "четвергов" он не устраивал, вся неделя была сплошным "четвергом". Жил он в двухкомнатной квартире с матерью и женой, с которой познакомился в лагере, трое они провели в заключении более полувека, особенно сильно это чувствовалось в русской жене Якира, которую я никогда не видел веселой. Сам Якир производил противоположное впечатление - можно было сказать, что он "брызжет весельем". Гюзель называла его - черноволосого, курчавого и толстопузого - Вакхом; вот он сидит в окружении девушек за уставленным скромными закусками столом со стаканом водки в руке, с вылезавшим из рубашки пузом и добродушно кричит на теснящихся за другим концом стола родственников: "Цыц, жиды!" Благодаря своему имени он был вхож в круги истаблишмента, но тяготел к демократической публике, к тем, с кем можно быть "сан фасон". Квартира его всегда была полна людьми, иногда довольно странными, - помню, в частности, человека, который накануне столетия Ленина прошел пешком из Москвы во Владимир и попросил начальника тюрьмы показать ему камеру, где сидел учитель Ленина Федосеев. Якир был типичным холериком, энергичным, неглубоким, быстро заводящимся, но должным скиснуть при первом же испытании, холерическое

возбуждение нуждалось в допинге, и поглощалась в огромных количествах водка. Биолог с мировым именем решил бороться за права человека и, как добросовестный ученый, изучить методику борьбы - он отправился к Якиру как студент к профессору, тот встретил его в одних трусах, и вместо брошюры "Что делать" протянул стакан водки, растерявшийся ученый выпил, закусил, послушал заплетающиеся речи Якира - и больше никогда к нему не приходил. Эта дурная репутация переносилась на Движение в целом, к радости тех и благодаря тем, кто не любил Движение как вызов их нечистой совести, считая, что угождение властям растрогает их и поведет к "либерализации", а сопротивление - к сталинизму. Боюсь, что сходное впечатление, хотя и без этих подспудных чувств, Якир производил и на иностранных корреспондентов, "коров", как он их называл, через которых Движение возвещало о себе "городу и миру", отношения у него с ними тоже складывались "сан фасон". Застолья Якира и Красина с корреспондентами сопровождалось разговорами в стиле: "Кто, по-вашему, участвует в борьбе?" - "Только мы!" В это "мы" они включали, впрочем, и тех русских, кто сидел с ними за столом. Это способствовало - хотя и не было главной причиной - возникновению теории, что Движения нет, а есть несколько отчаянных интеллигентов, которых, с политической точки зрения, можно не принимать во внимание. Для самих Якира и Красина это "только мы" приводило к теории вседозволенности: все позволено тем, кто не щадит жизни в борьбе, в то время как остальные прозябают в трусости, а следовательно, можно напиться в гостях, да еще взять домой несколько бутылок, не отдать деньги и тому подобное. Уже после моего ареста потребовали от Якира бросить пить или от Движения отстраниться, он только матерно выругался. Позднее, правда, - как своего рода диалектическая антитеза - появились диссиденты, кричавшие, разиня рот, что их ртом говорит сама Россия, но и отсюда следовало, что значит - все дозволено. Я защищал Якира "до последнего дня": не одобряя его пьянства, стиля жизни и метода ведения дел, я считал, однако, что он одним из первых открыто выступил против этой системы и вел, хотя по-своему, по-якировски, борьбу с ней, в то время как многие его критики в пьянстве Якира видели хорошее оправдание своей "трезвости". Мне казалось, что многое дурное в Якире наносное, что при таком серьезном испытании, как арест, проявятся лучшие его качества. Большую роль для меня играл ареол его лагерного срока - не имея еще сам лагерного опыта, я многого не понимал. Так что я не заслужил характеристику, которую Якир дал мне на допросе в КГБ, сказав, что я "расчетлив, замкнут и высокомерен", - в нем самом я как раз многое не расчел. Во время войны у Якира был короткий перерыв в заключении - и в это время он сам служил в НКВД, правда, не в следственном отделе или лагерной охране, а в группах, которые забрасывались в немецкий тыл. Мне готовность служить тем, кто держал его в тюрьме, была не совсем понятна, впрочем, то было время смещения и утери многих ценностей - ведь и отец его перед расстрелом крикнул: "Да здравствует Сталин!" - а Петра швырнули в тюрьму почти ребенком. Возвращение из успешного рейда отмечали в ресторане, зашел спор, среди кого больше предателей - среди украинцев или белорусов. Не помню, кого Якир посчитал большими предателями, но его мнение не совпало с официальным а у нас на все есть официальная точка зрения, - и как ранее сидевший "сын врага народа" он получил новый срок. Как и со мной, московское общество задавалось вопросом, почему Якира не арестуют, - удивительная страна, где общество решает за политическую полицию, когда и кого она должна арестовать, и нервничает, если полиция медлит: своего рода форма общественного давления на КГБ. На сцене разворачивалась борьба одиночек с системой, а хор за кулисами пел: они благородны, но наивны - плетью обуха не перешибешь, они затевают "мышиную возню" - зачем дразнить кошку, они совершают "объективную провокацию" - до субъективной один шаг. В первую очередь выдвигалась гипотеза, что если сам Якир и не агент КГБ, то КГБ использует его дом как ловушку. Допускали, что власти считаются с матерью Якира, вдовой расстрелянного в 1938 году командарма Ионы Якира. Иону Якира хорошо знал Хрущев и старался для его семьи что-то сделать. После смещения Хрущева Петр был у него, часто звонил, а жена Хрущева звонила ему, радуясь, что он на свободе. Думаю, власти медлили с арестом, отчасти боясь

реакции Хрущева - как бы не стал диссидентом. Чем далее в прошлое уходило время его власти, тем более либерален он становился. По словам Якира, Хрущев увлекся народническими идеями, его и Сталин когда-то в насмешку называл "народником". Перед моим арестом мы уговаривались вместе поехать к Хрущеву, мне очень интересно было узнать, читал ли он "СССР до 1984?". Якир тоже называл себя народником, хотя никакой общей и ясной концепции у него не было, им двигало чувство отвращения к сталинизму. У него не было и никакой определенной тактики, он делал все импульсивно. Помню, я сказал ему, что открытые обращения не вызовут сейчас отклика, важнее сосредоточить все силы на "Хронике текущих событий" и на самиздате в целом, он охотно согласился - и тут же подписал какое-то обращение. В марте 1970 года я попросил его написать открытое письмо - в "Таймс" для заграницы и в "Хронику" для читателей самиздата - как противовес слухам, что "СССР до 1984?" написан по заданию КГБ. Якир тут же написал, причем получалось так, что он соглашается с моими скептическими оценками перспектив демократии в России. - Получается не очень удачно, - сказал я. - Ты - одна из ведущих фигур Движения, а пишешь, что не веришь в его будущее. Надо бы вписать фразу, что в этом ты не согласен со мной. - Ну так впиши, у тебя лучше получится, - сказал Якир. - И я добавил, что он не согласен "с оценкой перспектив демократического движения. Хотя сейчас его социальная база действительно очень узка и само по себе Движение поставлено в крайне тяжелые условия, провозглашаемые им идеи начали широко распространяться по стране, и это есть начало необратимого процесса освобождения". 21 февраля у нас был новый обыск, с участием все тех же Шилова и Сидорова. Сидоров даже обиделся, что я не узнал его сразу. Обыском руководил томный молодой человек с такими ужимками и подергиванием плечами, с каким юная девушка отвечает на вопрос, замужем ли она. Тщательного обыска не было, взяли только пишущую машинку и несколько иностранных журналов с отрывками из "СССР до 1984?". Сидоров как можно картиннее раскладывал журналы и чеки Внешторгбанка на моем столе - делали киносъемку западногерманской камерой, так что я высказал предположение, не переодетые ли они "западногерманские реваншисты". Впоследствии в лагере на меня надевали американские наручники переодетые "американские империалисты". Ни меня, ни Гюзель не снимали вообще, зато набросились на наших гостей, которые пришли в разгар обыска. Еще несколько дней назад мы пригласили на обед корреспондента "Нью-Йорк Таймс" г-на Гверцмана с женой, не исключено, что, прослушивая телефонные разговоры, КГБ знал об их приходе и решил запечатлеть его на пленку как живое доказательство моих связей с заграницей. Гверцман был необычайно испуган, тем более что он только недавно приехал в Россию; когда он вернулся в бюро, у него тряслись руки. На вопрос следователя я ответил, что это наш друг, который был приглашен на обед. Говоря "друг", я вовсе не хотел набиваться Гверцману в друзья, это значило только, что он пришел к нам не по делу, а просто в гости. Однако он поспешно сказал, что неверно употреблять слово "друг", лучше сказать "лицо". Он говорил потом, что я агент КГБ и специально подстроил этот обыск, но для него никаких дурных последствий это не имело, и я считаю, что он может быть только благодарен судьбе: для журналиста быть в России и не увидеть обыска все равно, что в Испании не увидеть корриды. На следующий день он прислал к нам на разведку Джима Кларити, который спокойно пообедал у нас и даже играл на улице в снежки с Гюзель. Это, однако, не успокоило Гверцмана, и он не захотел хоть строчкой упомянуть в своей газете об обыске. Едва Гверцмана отпустили, появилось новое "лицо" - не скажу "друг", а именно наша пьяная соседка Оля, к которой только что вернулся сидевший за изнасилование сын. Насколько Гверцман был неуверен в себе, настолько решительное впечатление производила Оля. - Где здесь оперативники?! - закричала она с порога. - Берите моего сына! Сажайте его!! Он мать ударил!!! - Безобразие! Надо вызвать милицию! - загалдели оперативники, только что уверявшие меня, что они не из КГБ, а из милиции. Возмутило их, конечно, не то, что сын ударил мать, а что плавное течение обыска нарушено возмутительным образом. Я вывел Олю из комнаты, но тут внезапно стал гаснуть свет из-за неисправностей в электропроводке - гебисты же решили, что я заранее сделал специальное приспособление и теперь в темноте

что-то перепрыгиваю. К концу обыска я настолько вывел Шилова из себя, что он отказался оставить мне протокол и забыл вписать, что производилась киносъемка. - Можно понять его, сегодня было много обысков, он очень устал, - сказал примирительно Сидоров. - Это не извинение, я устал еще больше, но ничего не забываю, - ответил я, по своей привычке ставя себя в пример другим. Говоря военным языком, я пытался перейти в контрнаступление: начал требовать назад вещи, изъятые в мае, ссылаясь на то, что следствие по делу Григоренко закончено. С жалобами на Московскую прокуратуру я обращался в Прокуратуру СССР и в Президиум Верховного Совета СССР, а после февральского обыска к президенту Подгорному - и получал с разными, но равно неразборчивыми подписями однотипный ответ: "Ваша жалоба направлена в прокуратуру гор. Москвы для разрешения с предложением сообщить Вам о результатах". Вопреки закону о месячном сроке для ответа на жалобы Прокуратура Москвы полгода молчала. Время от времени заходил участковый инспектор и заносил повестки в милицию и военкомат, но я по ним никуда не ходил. Я запасся справкой, что работаю чтецом у слепого, но предъявил бы я ее только в случае последнего предупреждения. Милиция все же помнила о своем поражении год назад, но меня не трогали не из-за ее осторожности и не из-за заботы о слепом, который при моем аресте прозрел бы по крайней мере на мой счет, ибо КГБ способен творить чудеса. Все зависело от того, какой общий курс будет принят "наверху". Весной 1970 года кризис власти стал достаточно явным для стороннего наблюдателя, ходили слухи, что Брежнев вот-вот рухнет, однако он победил, и это означало, что определенный курс выбран. Я не понимаю, откуда взялась гипотеза, что Брежнев - либерал, и какой смысл его поклонники вкладывают в это слово. После каждого кризиса, приводящего к усилению Брежнева, следовал мой арест: я был арестован после того, как Брежнев стал первым секретарем в конце 1964 года, после того, как он победил в серьезном кризисе 1970 года, и после того, как он победил своих оппонентов в 1972-73 годах в вопросе разрядки. Речь идет не только обо мне, мои аресты каждый раз были знаком общего усиления репрессий. Точно так же "конституционный" кризис 1977 года закончился победой Брежнева - и арестом членов Хельсинкских групп. Ждали, что аресты начнутся сразу же после двух юбилеев: столетия Ленина в конце апреля и двадцатипятилетия победы над Германией в начале мая, называли даже точную дату: 15 мая. Я заметил слежку за собой, особенно она бросалась в глаза, когда я заходил в подъезд и филер хотел проследить, в какую я иду квартиру. Друзья советовали мне скрыться на время, был даже романтический план жить в пещерах Дагестана, но я решил вести себя так, что все, что я делаю, законно и мне не от кого и незачем прятаться. В конце апреля мы съездили на неделю в Ленинград, Таллинн и Ригу, до моего ареста я хотел показать Гюзель эти красивые города. Ленинград всегда производил на меня странное впечатление: декорации императорской столицы не вязались с бытом провинциального советского города, я думаю, сами ленинградцы трагически ощущали этот разрыв. Мрачность и несвобода, вообще присущие советскому обществу, в Ленинграде ощущались особенно давяще. Весной 1968 года в Москве один ленинградец сказал мне: "Такое чувство, будто я попал в свободный город". ВСХСОН никогда не смог бы возникнуть в Москве это типичное детище трагической полустолицы. Когда я проходил по Невскому проспекту, меня не оставляло чувство, что все это - мираж, что стоит свернуть с проспекта, как город тут же кончится, растворится в тумане, в испарении болот, и будут только мхи, лишайники и бесконечные безлесные водянистые засасывающие пространства, - петербургская культура - это какая-то новая Атлантида, но не рухнувшая в море во внезапной катастрофе, а постепенно засасываемая болотистой трясиной, из которой еще торчат верхушки домов, высовываются руки и подчас раздастся сдавленный крик - Ахматовой. Совсем иное впечатление произвел Таллинн, "старый город" которого кажется мне одним из самых красивых в мире - портит его только безобразная православная церковь, построенная в начале века, знак неумолимой русификации. Таллинн - действительно столица, очень маленькая столица очень маленькой страны, но город был явно тем, за кого он себя выдавал. В центре мы увидели кошку, которая спокойно на краю мостовой ела рыбу - вещь невозможная в России, где в два счета

эту кошку кто-нибудь пихнул бы ногой. Эстонцы держались сдержанно и вежливо, за все время мы встретили на улице только двух пьяных, увы, русских: беспрерывно перемежая речь матом, они удостоверялись во взаимном уважении. Наш гид оказался большим поклонником Солженицына, не скрывал этого - и вместе с тем работал в цензуре. Никакого впечатления, что он специально подослан нам, у нас не было. Но из Ленинграда в Таллинн в нашем купе ехало двое молодых людей, с которыми я поостерегся бы говорить о Солженицыне. Зато у нас был разговор о Юдениче, белом генерале, который неудачно наступал в 1919 году из Таллинна на Петроград, поэтому один из молодых людей назвал его неудачником. Я возразил, что едва ли верно называть неудачником человека, который как-никак стал генералом, и оба охотно согласились со мной - видно, вопрос о чинах занимал их. В середине мая мы переехали в Акулово, шофера почти на час задержала милиция - он сказал, что проверяли путевые документы и взятку вымогали, но стал относиться ко мне со странным почтением. На следующий день я заметил прогуливающихся по деревне "дачников", постоянно приглаживающих волосы столь знакомым профессиональным жестом; я все еще надеялся, что это просто проверка, здесь ли я. Считая арест неизбежным, я странным образом чувствовал себя на даче в большей безопасности, чем в Москве; это чувство рационализировалось поговоркой "с глаз долой - из сердца вон", то есть, коль скоро я не мельтешу пред глазами КГБ в Москве, он махнет на меня рукой. Неделю у нас прожили двое наших друзей, и 20 мая я повез их на станцию потом я часто вспоминал эту поездку, медленно бегущую лошадь, скрипящие ступицы телеги, поля и растающие в землю домики из красного кирпича.

Часть II. ОТКУДА НЕТ ВОЗВРАТА, 1970-1973

Глава 10. АРЕСТ

Утром 21 мая я работал в саду и увидел, как фургон совхозного инженера стал за домом нашего соседа, одинокого старика. Я подумал: зачем это инженер к нему приехал? - и тут же забыл об этом. Но только мы сели пить кофе, как Гюзель из окна увидела, что к нам идут двое: старик и второй, с лицом гебиста. Старик мялся, а его бойкий спутник с самыми дружелюбными ухватками начал спрашивать, где мы будем "голосовать" - здесь или в городе. Приближались "выборы" - мы никогда в этой комедии не участвовали, но, чтобы не вступать в ненужные объяснения, я ответил, что "голосовать" будем в Москве. Он не уходил, однако, и, упрямо топчась в сених, переспрашивал то же самое. - Так вы агитатор? - спросил я, подталкивая его к двери. - Да, с одной стороны агитатор, но вообще-то не агитатор. - Так кто вы такой? - и тут у меня прямо потемнело в глазах: масса темных костюмов внезапно рванулась с улицы на террасу, проталкивая и отпихивая друг друга, как в метро в часы пик. - Мы к вам с обыском, Андрей Алексеевич, - обрадованно гаркнул здоровенного роста мужчина, с грубо отесанным, но не жестким лицом. - По постановлению Свердловской прокуратуры! - И на мой удивленный взгляд добавил: - Обнаружены и у нас в Свердловске ваши сочинения. Мне не хотелось показывать, что я напуган или растерян, сразу поддаться им - и я насмешливо сказал напиравшему на меня следователю: "То-то видно, что вы из провинции, в Москве "органы" стали поотесанней". Я захотел допить кофе - и мне дали его допить, напряженно смотря в рот. - Вы можете нас презирать, но предложите нам сесть! - вскричал один. - Хозяева здесь вы, - сказал я, - можете садиться, где хотите. От меня потребовали, чтобы я ехал в Москву, а здесь проведут обыск в присутствии жены. Я сказал, что жена ни при чем, пусть делают обыск при мне. Мы несколько минут пререкались, и свердловский следователь со словами: "Ну, тогда будет другой разговор", - достал из портфеля ордер на арест. Хотя я ждал ареста, сознание его бесповоротности подействовало тяжело, меня успокоило, однако, что ордер подписан следователем прокуратуры, а не КГБ, значит - ст. 1901и три года. - Ордер этот ко мне отношения не имеет, - сказал я, - здесь речь идет об Амальрике Андрее Алексеевиче 1939 года рождения, а я, правда, тоже Амальрик, имя и отчество сходятся, но год рождения другой - 1938-й. - Это мы просто перепутали, это мы поправим, - заволновался следователь, ему действительно пришлось съездить к прокурору, пока гебисты делали обыск; столько следили за мной, а года рождения узнать не

могли. Уезжать до обыска я во всех случаях отказался, и тогда они схватили кресло, в котором я сидел, и понесли меня наподобие китайского богдыхана хотя в дверях и вывалили без всякого почтения в сени, в дверь кресло не пролезло. Двое-трое здоровых мужиков без всякого труда вытащили бы меня из дома, но их было слишком много, каждый хотел показать свое усердие и бросался меня тащить, мешая другому, так что образовался клубок тел, в центре которого я скорее беспомощно барахтался, и этот клубок, застревая поочередно в дверях сеней и террасы, выкатился, наконец, на улицу, где стояло уже несколько "Волг" - в одну из них стали меня запихивать, особенно старался, тяжело дыша и матерно ругаясь, мой старый приятель капитан Сидоров. - Ну что, успокоился?! - спросил он, влезая следом за мной. - Успокоился, - сказал я, в сущности я хотел оказать только символическое сопротивление. Около машины появилась Гюзель и с плачем протянула мне теплые носки - почему именно о носках вспомнила она в эту минуту? Мы поцеловались, не зная, когда сможем увидеться, и Сидоров велел шоферу ехать. Гебисты приехали на четырех машинах, у правления совхоза пересели в фургон инженера, а затем выслали вперед лжеагитатора: боялись, что, увидев идущую по деревне толпу, успею скрыться или снова сожгу что-нибудь. Можно сказать, что их план удался. Рядом с шофером сидел мой следователь, Иван Андреевич Киринкин, а сзади обсели меня Сидоров и молодой гебист, он начал в середине пути клевать носом, и я показал Сидорову глазами: подводит молодежь. На мягкий упрек Сидорова тот вздохнул: "Ничего не могу поделать, режим, привык спать в это время", - у него был вид спортсмена, следящего за собой. Я молчал всю дорогу, хотя Киринкин пытался несколько раз заговорить. Удачная операции настроила Сидорова лирически, и пока мы ехали по проселочным дорогам, он несколько раз повторял: "Эх, выпить бы деревенского молочка!" Не он, однако, был здесь главный - и выпить молочка ему не удалось, по сигналу из второй машины мы остановились около захудалой столовой: гебистам пора было обедать, режим. Пока мы стояли, мимо меня раза два прошел человек, лицо которого мне было знакомо по прежним судам, походил он, с одной стороны, на усеянную бородавками жабу, а с другой - на будущего государственного секретаря США Киссинджера. Он руководил всей операцией, но, как великий стратег, сам не принял участия в бою. На улице Вахтангова охранник-спортсмен, достав из багажника мое пальто, поспешил вверх по лестнице, видно было, что он человек с чувством достоинства и тащить за арестованным пальто кажется ему унижительным, он даже окликал меня несколько раз, я же, понимая его тонкие чувства, наоборот, ускорял шаги - так что он догнал меня только у дверей квартиры. Мы опоздали: назначенные "понятые" ушли. Пригласили двух молодых людей действительно с улицы, очень робевших и ни во что не вмешивавшихся. Только один, когда переворачивали матрас, восхищенно сказал: "Хороший матрасик!" - У Андрея Алексеевича все хорошее, все заграничное, - ехидным голосом подхватил Сидоров. - Разве же заграничное хорошее, хорошее это наше, советское, - ответил я, и Сидоров умолк. До прихода понятых обыска начинать не имели права, я настоял, чтобы все дожидались в коммунальной кухне. На нашей полке лежал пакет, но я понадеялся, что обыск в кухне делать не будут. Оказалось, что шести человек на меня одного мало, появился седьмой, и, извинившись за опоздание, протянул мне руку, приняв меня по уверенному виду за одного из следователей. - Вы ошиблись, - сказал я со смехом и не подавая руки, и он испуганно отскочил. Оказался он человеком очень мнительным и долго не хотел называть свою фамилию. - А звание у вас какое? - Это не имеет значения. - Имеет огромное, - сказал я. - Раз вы служите, для вас смысл жизни в получении очередного звания. Обыск был недолгий, хотя и доставил мне большое огорчение: как раз в день отъезда на дачу я ждал курьера от Карела, курьер не пришел, но появились шофер, несколько знакомых, и я не мог при них перепрыгивать рукописи, оставив все до скорого возвращения в Москву - и вот возвращение состоялось. Особенно мне было неловко, что конфисковали рукопись Владимира Гусарова "Мой папа убил Михоэлса". Отец его был первым секретарем ЦК КП(б) Беллоруссии в то время, когда в Минске по приказу Сталина был убит Михоэлс, но сам Гусаров пишет, что это было дело рук Цанавы, министра госбезопасности Беллоруссии и племянника Берии. Книга эта - описание детства в семье

партработника, артистической карьеры, ареста и тюремной психбольниц в сталинские годы оставила впечатление горькой, откровенной и талантливой. Зная, что ее автор чудак и разгильдяй, я очень боялся, что у него нет другой копии и книга пропадет, причем по моей вине. С этим неприятным чувством я прожил семь лет и только недавно узнал, что одна писательница вывезла рукопись в Израиль. Я решил не уходить из дому до возвращения Гюзель, пусть меня опять волокут силком. Однако к концу обыска ее привезли - и мы обнялись на прощанье, чтобы увидеть друг друга через восемь месяцев. Когда меня вели по корридору, неожиданно выскочила из кухни соседка со словами: "Вам пакет!" Гебисты бросились на пакет из США с жаром, раскрыли - и там оказался Новый Завет по-русски. - Оставьте его, - поколебавшись минуту, сказал Сидоров. Думаю, он исходил из здоровой мысли, что моя почта просматривается, и раз книга пропущена значит, ничего опасного нет, но мог бы изъять ее и просто из вредности. Постановление об аресте было датировано сначала 15 мая, что подтверждало слухи о начале арестов, затем переправлено на 19, затем на 20 мая - может быть, ждали отъезда наших друзей с дачи, чтобы и у них сделать обыск. В протоколе обыска в Акулове "было предложено указать местонахождение отыскиваемого и добровольно выдать не подлежащие хранению предметы - оружие и прочее"- старое охотничье ружье затем было передано милиции и никакой роли не сыграло; в Москве - "добровольно выдать литературу и документы антисоветского содержания". В числе таких документов была изъята фотокопия статьи из "Правды" о Кареле. Хотели также изъять машинописную главу из "Истории тайной дипломатии" Маркса: Маркс тоже мною такого понаписал, что можно и по 70-й привлекать. Повезли меня не в Лефортово, а в Бутырки - тюрьма рангом пониже, как ст. 1901пониже ст. 70, так что мой план как будто реализовался. Напряжение, связанное с арестом и обысками, отошло, я даже повеселел, Сидоров и Киринкин моему веселому настроению обрадовались. - Андрей Алексеевич человек умный, - говорил Сидоров, намекая, что надо колотья, - он долго сидеть не будет, годик - и хорош. - Мой ум не давал ему покоя. - Вот вы человек умный, а жена ваша... - Я думал, он скажет "глупая", но он сказал: - ...простая, начнет сейчас по иностранцам бегать и сама себе наделает неприятностей. Оба не знали, где въезд в Бутырскую тюрьму, и мы долго беспомощно тыкались в разные ворота, пока пожилой старшина не сказал, как когда-то нам с Генри Каммом: "Что, ребята, заблудились?" - Капиталистическое окружение - оттого и приходится людей сажать, Андрей Алексеевич, - сказал Сидоров во дворе тюрьмы. - Ну, в тюрьме всегда люди будут, - пожал я плечами. - Но не такие, но не такие! - патетически возразил он, давая понять, что я призван для более великих дел, чем прозябание в тюрьме. - Стой здесь, руки назад! - крикнул дежурный офицер, и железная дверь за мной захлопнулась. Уже много раз описано, как человек попадает в тюрьму и что он чувствует при этом, - наиболее пронзительно, как мне кажется, и "Круге первом" у Солженицына. Я постарался описать это в "Нежеланном путешествии", теперь пять лет спустя - я снова был введен в тот же приемник Бутырской тюрьмы, с тем же плакатом: "На свободу - с чистой совестью!" над дверьми, ведущими на свободу, и снова прошел через рутину приема: регистрацию, фотографирование, снятие отпечатков пальцев, обыск, изъятие ценностей, стрижку наголо, баню, выдачу тюремных вещей и развод по камерам - процедуру, лишнюю для меня на этот раз прелести новизны. Пожилой старшина, который держался со мной очень торжественно, записывал мои данные, сидя за дощатым барьером и глядя в окошечко. Тут же за барьером две невидимые мне служащие комментировали мои ответы. - Смотри-ка ты, жена не работает! - воскликнула одна. - А чего ей работать! объяснила другая. - Ты за копейки работаешь, а он рубли получал: связался с американской разведкой, - говорила она это не с осуждением, а скорее с завистью. Меня поместили в бокс - крошечную камеру, где я не мог ни лежать, ни ходить, а только сидеть или стоять, - и там продержали сутки. Думаю, это сделали для того, чтобы я сразу почувствовал, что такое тюрьма, - чем сильнее надавить сначала, тем скорее крошится воля. Перед баней между двумя надзирателями, или, как они стали теперь называться, контролерами, произошел спор. - Этого строго отдельно, - сказал опрашивавший меня старшина. - Ничего, помоемся со всеми, - отвечал другой, ему не

хотелось делать два рейса в баню. Когда нас вели по двору, я заметил, что там, где пять лет назад были прогулочные дворники, теперь выстроен новый корпус, нововыстроенные корпуса были почти во всех тюрьмах, где я потом побывал, притом и старые были забиты - не знаю, как это совместить с официальными сообщениями, что преступность снижается (*).

(* Я говорю "тюрьма", хотя официальное название "следственный изолятор" заключенных содержат здесь во время следствия и до вступления приговора в законную силу. Собственно тюрьмой, на языке заключенных "закрыткой", называется тюремное здание, где содержат заключенных по приговору. *)

Я боялся одинаково как одиночной камеры, так и общей, где будет человек сорок. В камере оказались двое, и оба дружелюбно приветствовали меня. Их удивил мой вид, обычно люди с воли попадают в более растерзанном состоянии духа и лишь постепенно приходят в себя, но я, как я уже говорил, приучил себя к мысли о тюрьме. Едва войдя в камеру, я с жадностью стал пить воду из крана - за сутки в боксе меня измучила жажда. Физик Александр Борк, с сухим и сдержанным лицом ученого, сел по обвинению в получении взяток на приемных экзаменах в институты, ожидало его от 8 до 15 лет заключения, на воле у него остались жена и маленький сын. Тренер по горным лыжам Илья Романенко сел, как он сказал, за "заранее обещанное укрывательство краденого". Двое молодых людей решили бежать за границу, сделав для этого маленькую подводную лодку: чтобы не быть засеченной радаром, она должна была присосаться к подводной части идущего за границу судна. Для ее строительства нужны были деньги, и изобретатели ограбили магазин, причем не обошлось без убийства. Часть украденных плащей "болонья" Романенко по их просьбе спрятал у себя. Был он попроще, чем Борк, поавантюжнее и покомпанейское. Теперь я могу с уверенностью сказать, что он был осведомителем. Следствие у него кончилось, он ждал трехлетнего срока - и мог сразу рассчитывать на условное освобождение. Думаю, что в деле своих друзей-изобретателей он сыграл печальную роль, да и у Борка многое испытал. Я просидел с ним слишком недолго, чтобы он мог сделать что-то дурное мне, наоборот, он приучил меня каждое утро делать зарядку и обливаться холодной водой, что помогло мне за годы тюрьмы и лагеря и что я и теперь делаю. Мы проводили время совсем не плохо, в оживленных разговорах, в чтении книг, я даже начал курс лекций по истории Демократического движения, которые восемь лет спустя продолжил в Гарвардском университете, - Романенко смотрел мне в рот, предвкушая, сколько материала я ему дам для опера. Уже через три дня пришла передача от Гюзель - и это оживило наш стол, впрочем, Романенко держал свои разнообразные продукты отдельно, шуршал по вечерам шоколадной бумажкой, и, когда меня выводили из камеры, его напутственные слова были: "Не очень делись продуктами!" Он по-своему хорошо относился ко мне и, кроме доброго совета, дал плитку шоколада в дорогу. 25 мая меня "дернули" из камеры, дежурный офицер хотел, чтобы на меня надели наручники, но Киринкин и Сидоров запротестовали и благополучно довели меня до следственного отдела Прокуратуры СССР. В "постановлении о привлечении в качестве обвиняемого по ст. 1901УК РСФСР" мне ставилось в вину: "СССР до 1984 года?", "Путешествие в Сибирь", статья "Русская живопись последнего десятилетия" и интервью Кларити и Коулу, Киринкин забыл "Письмо Анатолию Кузнецову", хотя из всех моих писаний только оно было обнаружено в Свердловске и было единственной зацепкой для ведения дела там. Перед каждым, обвиняемым в распространении своих или чужих взглядов, открываются несколько возможных тактик на предварительном следствии и суде. Во-первых, он может признавать инкриминируемые ему писания и высказывания антисоветскими, признавать факт их распространения и раскаиваться в содеянном - тактика, наиболее желаемая для следователя. Однако и внутри этой возможности есть разные варианты: можно идти за следователем - признаваться только в том, в чем он вас уже уличил и что ему и без вас известно, но можно забегать вперед и вываливать все без разбора, говоря языком блатных, "колоться до жопы". Во-вторых, можно признавать и факт распространения, и оценку писаний или высказываний как антисоветских - но раскаивания при этом не выражать: "Считаю свои взгляды антисоветскими и от них не отказываюсь!" Такая позиция, в общем, тоже облегчает работу

следователя и может создать серьезные проблемы для других, замешанных в этом деле. В-третьих, можно признавать факт распространения, но отвергать оценку писаний или высказываний как антисоветских, или клеветнических, наоборот, подчеркивать, что действия носили совершенно легальный характер, а преследование их незаконно. Это была тактика большинства участников правозащитного движения, она не допускала высказывания вперед со сведениями, следователю неизвестными, а также дачу показаний о других. Наконец, могла быть тактика отрицания инкриминируемых деяний, вне зависимости от того, имели они реально место или нет. Подследственный говорит при этом: нет, я этого не говорил и не писал, нет, я этой рукописи не брал и не давал, а тот, кто утверждает обратное, ошибается или клеветает на меня. При этом можно соглашаться с оценкой высказываний или писаний как антисоветских, можно не соглашаться или вообще никаких оценок не давать. О последнем казусе я буду подробно писать далее. Теперь же я выбрал пятый вариант. Я сказал Киринкину, что ни антисоветскими, ни клеветнически я свои писания не считаю и никаких показаний на следствии давать не буду. Еще до ареста я решил поступить так во всех случаях, какое бы обвинение мне ни предъявили, и исходить не из отрицания фактов или их оценок, а из отрицания права суда и следственных органов преследовать людей за их взгляды - верны они или ошибочны, вопрос другой. Киринкин печально посмотрел на меня и сказал: "Тогда с ходу 70-я". Я только руками развел, показывая полную покорность судьбе, но тут эту угрозу всерьез не принял, я полагал, что ст. 1901 выбрана высоким начальством и едва ли ее из-за моего поведения будут менять, я во всех случаях получу максимально три года, только за полное покаяние и самооплевывание мне дали бы год. К тому же моя позиция позволяла мне избавиться от мелочной возни с признанием одного, отрицанием другого, споров со следователем, что советское и что антисоветское. Впрочем, ни Киринкин, ни Сидоров тоже о моем отказе не очень беспокоились: ты, мол, только что попал к нам, голубчик, посидишь месяц-другой, не так запоешь. С Сидоровым у меня завязалась теоретическая дискуссия, как бы отнеслись "советские люди" к моей книге, если бы смогли ее прочесть, начиная от моих соседей и кончая "широкой рабочей аудиторией", к которой разные чины всегда любят апеллировать, имея в виду не реальных рабочих, а некоторую фикцию. - Устраивайте мне встречу с рабочими, - сказал я. - Не знаю, как они меня встретят, но проводят аплодисментами. - Да вы же на советскую власть клеветаете, говорите, что она не просуществует до 1984 года! - возмутился Сидоров. - Мы не выступление вам будем устраивать, а судить за клевету. - Так вам тогда надо подождать до 1984 года, просуществует власть судите, не просуществует - значит, я пишу правду. Чувствовалось, однако, что ни Сидоров, ни его начальники не могут ждать так долго. - Я не желаю Советскому Союзу гибели, - сказал я Сидорову, - но хочу указать на возможные опасности, надо же думать о будущем. По-вашему, например, что будет в 1984 году? Сидоров, подумав, ответил: "Жизнь будет еще лучше!" - Я вашу книжку прочитал, так вообще ничего не понял, - с насмешкой сказал Киринкин. - Как же дело возбудили, ничего не поняв? Киринкин промолчал, но я поверил, что он ничего не понял, он был человек простой, занимался, как мне потом сказал, делами об убийствах, в историю с книжками попал случайно, у него не было достаточной интеллигентности, ни даже интереса, чтобы этим заниматься. Единственный вопрос, который его по-настоящему волновал, как, впрочем, и Сидорова, сколько мне заплатили за книги и удастся ли мне эти деньги получить. Видно было, как огорчает Киринкина, что я пользовался валютными магазинами, куда ему - увы - доступ был закрыт. Неоднократно мне делались намеки, что я из-за денег писал все это, а вовсе не из-за идейных соображений - при этом на меня многозначительно смотрели, ожидая оправданий, но я всегда отвечал: "Да, из-за денег", - после чего дальнейшие вопросы отпадали, подтверждая взгляд, высказанный мной когда-то Генри Камму. Едва меня посадили, как пришло несколько денежных переводов, на них был наложен арест - но конфисковать и власти не могли, требовалась сначала моя подпись, чтобы принять их от иностранных банков. Внешторгбанк прислал Свердловской прокуратуре рекомендацию, что наилучшим решением вопроса будет, если я "пожертвую" эти деньги государству, но надо отдать должное Киринкину, зная мое

отношение к деньгам, он даже не предложил мне этого - и переводы вернулись к тем, кто их послал. Не помню, каким путем мы ехали с Большой Лубянки до Бутырской заставы, помню только общее ощущение Москвы и воздух, пахнувший только что прошедшим дождем. "Красивый у вас город, Андрей Алексеевич", - сказал Киринкин, более чтоб напомнить мне, что я этот город долго не увижу. Но я не жалел об этом, я смотрел скорее как равнодушный путешественник, пресыщенный обилием виденного - полный контраст с той жадностью, с какой я смотрел на московские улицы из окна "черного ворона" пять лет назад, с той тоской, с какой я вспоминал московские бульвары в сибирской ссылке. Не знаю, почему я так изменился, может быть, опыт десяти лет был горек для меня, и эта горечь отравляла многое. На следующий день меня, недолго подержав в боксе, одного пихнули в воронок. Я терялся в догадках: сначала думал, что меня перевозят в Лефортово, потом решил, что в Институт судебной психиатрии им. Сербского несмотря на все уверения в корыстолюбии; увидя, что машина свернула в противоположную сторону, я даже подумал, не за границу ли меня высылают. Но время для высылки еще не пришло, мы подъехали к Казанскому вокзалу, и я понял, что меня этапируют в Свердловск.

Глава 11. СВЕРДЛОВСКИЙ СЛЕДСТВЕННЫЙ ИЗОЛЯТОР: "НА СПЕЦУ"

Двое суток до Свердловска (*) я провел в отдельном купе - лучше сказать, в отдельной камере столыпинского вагона. Где-то на полпути в соседнюю камеру посадили мордовку, молодую, очень толстую, с тяжелым лицом, она села за поджог склада, и я подумал, что она работала кладовщицей и хотела таким образом скрыть недостачу, но ошибся.

(* Бывший Екатеринбург был переименован в честь Якова Свердлова вскоре после того, как в июле 1918 года здесь была по его приказу расстреляна царская семья. *)

- Оттого подожгла, что жизнь тяжелая, - сказала она. - Жрать нечего, в магазинах пусто, платят мало, а начальству слова не скажи. Я впервые столкнулся с традиционным для России "красным петухом", время от времени происходят такие спонтанные вспышки - как вызов социальному неравенству. Мне известны случаи еще нескольких поджогов и взрывов на Урале и Колыме, не исключая, что пожары в Москве в 1977 году - дело рук таких поджигателей. Зек-банщик, узнав, что я из Москвы, сразу же спросил, что слышно об амнистии: "парашами" об амнистии к столетию Ленина зеки тешили еще в 1965 году, да тут еще двадцатипятилетие победы над Германией подоспело, представляю, как взвинчивали себя в лагерях и тюрьмах весной 1970 года, но ничего не дождалось, кроме куцевого сокращения сроков. А в конце мая - на что еще надеялись? - Ну, дождется Брежнев, что народ за топоры возьмется, - сказал банщик. "Нужна новая революция! Нужен новый Ленин! Нужна вторая партия!" - не раз мне потом приходилось слышать в зонах и на этапах. Если будет кем-то сейчас в России разработана теория политического террора против власти - пусть даже не столь стройная, как теория террора власти против народа, - теория, оправдывающая борьбу с системой методом поджогов и убийств, быстро найдет исполнителей. Систематического террора "снизу" нет только потому, что пока что ведущее место в оппозиции занимают его принципиальные противники. Как и в Бутырке, меня поместили "на спец", то есть в корпусе с камерами на двух-четырёх человек, в общих камерах сидело по шестьдесят. Был хороший солнечный день, маленькое окошко было под самым потолком, на без намордника, и солнечные лучи лежали на желтых стенах. Пять шагов в длину, три в ширину, справа унитаз, за ним углом две вагонки - двухъярусных металлических койки, в центре - вделанные в пол и стену металлические столик и табурет. Никого в камере не было. Я сел на металлический табурет, выпил кружку воды, разбалтывая в ней остатки сахара, и почувствовал приближение безысходной тоски. Ощущение тюремной тяжести непередаваемо, равно как и скуки, - если вы пытаетесь описать тюремную жизнь, вы цепляетесь пусть даже за незначительные, но события, между тем тюремное существование - это в действительности растянувшееся "несобытие", время тянется нестерпимо медленно - но стягивается в вашей памяти в жалкий комочек. Впервые я чувствовал отчаяние, вызванное, быть может одиночеством, чужим городом, спадом напряжения. Тоска, как всегда в тюрьме, усиливалась к вечеру, услышал по радио Теодоракиса, пластинку которого мы часто

слышали с Гюзель, передавали песню, написанную греческим поэтом в немецком лагере, и я не мог сдерживать слез. Радиорепродуктор был в камере, можно было выключить его - несравненное благо, в других тюрьмах радио орало и убеждало из-за железной решетки, делая перерывы только по воле администрации и доводя меня до умоисступления, даже тоска одиночества легче, чем лезущая в уши и в рот, как вязкая вата, пропаганда, даже американская коммерческая реклама не так противна. Впрочем, иногда бывало что-то интересное. Сообщили, что великий композитор Шостакович написал марш для войск МВД, и теперь они могли конвоировать зэков под его победные звуки. Премьер-министр Канады г-н Трюдо, посетив Норильск, сказал, что в Канаде, к сожалению, нет такого прекрасного заполярного города. Мне хотелось крикнуть через железную решетку канадскому премьеру: "Арестуйте миллион канадцев, отправьте в Заполярье, пусть они под дулами автоматов обнесут себя колючей проволокой, начнут копать шахты и строить дома - и у вас будет такой же прекрасный заполярный город!" Чтобы занять себя, я тщательно мыл пол в камере, делал зарядку и разгуливал взад-вперед, вспоминая что-нибудь. Большой радостью было, когда принесли книги, причем, без выбора, библиотека была плохая, я выпрашивал русскую классику, перечитывал Тургенева, Толстого и Достоевского. В который уже раз перечитал его "Бесов", но с чувством скорее тяжелым, поражаясь искажениям и преувеличениям - не художественным, как у Гоголя, а скорее антихудожественным, видно было, как политическая тенденция подчиняет талант, книга великая, однако. Чаще библиотекаря приносила книги, которые я отказывался брать, на что она отвечала: "Раз книги написаны, надо их читать" - чтение казалось ей одной из тюремных повинностей. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, давали "Правду" и "Известия" или местный "Уральский рабочий". Я завел календарь, где отмечал, сколько я просидел и сколько осталось, зеки говорят, что если дни не считать, срок бежит быстрее, но не было дня за годы заключения, чтобы я не сказал себе - сегодня до свободы осталось столько-то. Со скрипом отворилась дверь камеры, и я едва чайником не сбил с ног подполковника и капитана: привык уже, что в это время надо выставлять чайник для кипятка. По их расспросам, с примесью сахаринной сладковатости, как в пепси-кола для диетиков, можно было догадаться, что оба - оперы. Я ничего не стал говорить о моем деле, но пожаловался, что сижу один, на что полковник сказал: "Это временное явление, скоро вам дадут кого-нибудь". Вечером следующего, пятого, дня вошел очень высокий и мрачный молодой человек с полиэтиленовым мешком махорки в руках и, не здороваясь, сел в угол. Постепенно разговор как-то завязался. Звали его Володя, он работал завхозом студенческого общежития и во время ремонта продал "налево" все унитазы. Когда с помощью унитазов "человеческий контакт" между нами установился и мы, лежа уже на своих койках, беседовали вполголоса, Володя сказал: "Не знаю, как ты к этому отнесешься, но меня сюда поместили следить за тобой". Его вызвали полковник и капитан, расспросили о его деле и предложили сесть к человеку, которого он по их намекам принял за американского шпиона. Конечно, ему со шпионом было бы сидеть интересно, хоть он и не знал, как себя вести с ним. Значит, вчера заходили посмотреть, кого мне подсаживать, старший был из УВД, а младший - тюремный оперативник капитан Масленников. Для встречи с ним Володю периодически вызывали якобы то к следователю, то к адвокату; думаю, что меня Масленникову он закладывал с той же легкостью, как и его мне. Масленников инструктировал его, как и о чем со мной разговаривать, в частности, поручил спросить, читал ли я "Воспоминания" маршала Жукова и почему, по моему мнению, Сталин Тухачевского, Якира, Егорова и других расстрелял, а Жукова не тронул. - Отвечай словами Зои Космодемьянской, Амальрик, мол, сказал: нас много, всех не перестреляешь! - сказал я. - Амальрик сказал, что вас, мол, много, всех не перестреляешь! - немного перепутав, объяснил Масленникову Володя. Его доклады так заинтересовали начальство, что через несколько недель его расспросил пожилой мужчина в штатском и со словами благодарности сжал ему руку. Я спросил, не на жабу ли он похож. - Точно, на жабу! - вскричал Володя. Это был тот, кого я видел на пути из Акулова в Москву в день ареста. Себя Володя называл художником, по его словам, несколько лет проучился в Новосибирском художественном институте -

может быть, его как художника и выбрали "наседкой" к любителю живописи; с другой стороны, выходило, что в это же время он служил в армии, сидел в лагере за дезертирство, угонял краденые машины в Грузию или обчищал автоматические камеры хранения на вокзалах, подбирая в качестве четырехзначного кода примерный год рождения своей жертвы. Уставал я от его беспокойной натуры. Вот он, задумчиво шевеля губами, производит арифметические подсчеты: оказывается, подсчитывает девушек, с которыми был близок, выходит свыше ста. - Что-то много для тебя одного, все бляди, вероятно? - Да нет, не все, - возмутился Володя. - Есть и честные: вот Таня, например, - нет, пожалуй, блядь, ну так Маня - нет, тоже блядь! - Зато очень гордился, не меньше, чем умением жить на счет женщин, своей женой и ребенком, рассказывал об их необычайной любви и даже начал писать роман об этом, выпрашивая у надзирателя бумагу и ручку якобы для заявлений, - тут становилось в камере тихо, но это имело свою неприятную сторону, потому что он потом выражал желание прочесть мне написанное и донимал расспросами, сколько денег он получит, когда его роман будет напечатан. Позднее другой сокамерник писал пьесу "Дом на песке" - тоже о своих отношениях с женой, главной отрицательной героиней была там теща. В заключении начинают читать и писать даже те, кто на воле и букв не разбирал, - это какой-то выход, видимо, терапевтическая роль искусства быть замещением реально неосуществимого. При нашей первой с Володей партии в шахматы я отошел по малой нужде, думая, что следующим ходом ставлю мат, но застал такое расположение фигур, что впору самому думать о капитуляции. Не только споры из-за шахмат, но вообще его желание словчить и устроиться на чужой счет - для блатных вообще характерное - начали приводить к конфликтам, да и то, что он согласился стать осведомителем, отталкивало меня, я понимал, что в чем-то он был уже замешан - и от тюремного опера перейдет к лагерному. Он увиливал от мытья пола - и я бросил мыть пол, так что мы заросли грязью, затем я перестал делиться с ним продуктами, и если представить двух чужих друг другу людей, обреченных месяцами быть вместе в замкнутом пространстве камеры, не трудно понять, как напрягаются отношения - у нас дело дошло до драки. После этого я стал брать уроки бокса у нового сокамерника, полмесяца мы сидели втроем, а потом четыре - вдвоем, Женя был старше, спокойнее, без желания "показать себя", на воле он работал механиком и заочно учился в Московском автодорожном институте. Он выполнял роль курьера и телохранителя некоего Самохина, который занимался перемещением золота, чтобы, выкопанное на Урале, оно было закопано в Грузии. С одним из дельцов Самохин встретился у Жени в московской коммунальной квартире. "Ну, вы здесь воркуйте, - сказал Женя, - а я приготовлю яичницу", - а когда он с дымящейся яичницей возвратился с кухни, увидел, что грузин лежит с пробитой головой. - Ты подожди минуту, а я сбегаю позвоню врачу! - сказал Самохин, и с тех пор ни его, ни врача Женя так и не видел. Соседи вызвали милицию - и дальше пошло все как в тумане, куда-то везли его, о чем-то спрашивали, очутился он в комнате с зарешеченным окном и кричит: где я? - а ему со смехом отвечают: ты в тюрьме. За связь с Самохиным и убийство, что было расценено как бандитизм, получил он десять лет. Так он рассказывал мне эту историю, не исключая, что грузина убили они вдвоем, или даже он сам и только на бежавшего Самохина сваливал. Но когда Женя был привезен из лагеря в Свердловск и несколько раз вызван не допросы - он узнал, что Самохин, наконец арестован, так и не успев за два с половиной года найти врача. "Золотое дело" стали распутывать, не знаю, чем оно для Жени кончилось. Могу с уверенностью сказать, однако, что ко мне его тоже посадили как "наседку". - Ты сидишь за "распространение сведений, порочащих государственный строй"?! Ха-ха-ха, быть этого не может! - едва появившись в камере, начал он с прозрачным расчетом на то, что я в ответ скажу: да, я сделал то-то и то-то! - и матерьял оперу готов; видно было, что с ним предварительно побеседовали и темы для разговора указали. Также он неоднократно спрашивал, не еврей ли я, но, может быть, потому, что я лагере его самого принимали за еврея. Постепенно он стал ко мне относиться со все большей симпатией, не знаю, что и как он говорил оперу, но в важном деле меня не выдал - расскажу об этом дальше. Мы жили дружно, в шахматы играли без ссор, занимались боксом, продукты делили

пополам. Хотя это было запрещено, он пронес с собой самоучитель, и я начал заниматься английским и все годы заключения пользовался каждым возможным случаем, чтобы продолжить занятия, так что, выйдя на волю, мог сносно читать, хотя не связал бы простейшей английской фразы и не мог ни слова произнести правильно. Тюремный распорядок определялся подъемом в шесть утра, отбоем в десять вечера, завтраком, обедом, ужином и прогулкой. Кормили отвратительно, я так и не научился есть суп из гнилой селедки, у хлеба обгрызал только корку, в каше не было масла - делалась она из крупы, не встречаемой на воле, зэки ее называли шрапнелью, порция едва закрывала дно миски. Тюремный рацион рассчитан на голодание как "воспитательную меру", возможность того или иного зэка "подкормить" - инструмент в руках следователя и опера. Часть продуктов разворовывается администрацией и хозобслужбой, а кроме того, питание в тюрьме и лагере зависит от условий района. Урал - голодающий район Советского Союза с наиболее низким качеством продуктов. Надзиратель, увидев копченую колбасу, которую за валюту покупала Гюзель, сказал с завистью: "О, какую вы колбасу едите!" - "Садись с нами, и ты будешь есть такую", - не растерялся ответить Женя. Уральская колбаса была осклизлая плотная масса красноватого цвета, с очень сильным привкусом крахмала. Я потому и не голодал, что Гюзель переводила мне деньги на "ларек" и ежемесячно присылала разрешенную посылку в 5 килограммов - первый раз она привезла ее сама в тщетной надежде на свидание. В нашем почтовом отделении ко мне хорошо относились и потому посылки принимали, по правилам же заключенным посылать продукты из Москвы не разрешено - иначе самим москвичам есть нечего будет. Теперь же вообще передавать можно только продукты из магазинов того города или поселка, где расположена тюрьма, чтобы не раздражать надзорсостав видом хорошей колбасы. Все ограничения власти объясняют заботой о родственниках зэков: чтоб они, мол, много не тратились, не истощали свой бюджет. Передачу я ждал как весть от Гюзель, переписка была запрещена, и даже написанный ее рукой список продуктов выглядел как любовное письмо. Один месяц передача не пришла - я был в ужасном состоянии, думал даже, что Гюзель арестовали. Оказалось, что в тюрьме ввели карантин из-за холеры, эпидемия распространилась от Молдавии до Южного Урала - в некотором противоречии с заявлениями, что советской медицине удалось навсегда покончить с холерой. Дважды в месяц женщины-ларечницы в белых халатах обходили камеры, и в пределах пяти рублей у них можно было покупать сахар, масло, пряники, дешевые конфеты, плавленый сыр, сигареты, конверты и карандаши, продукты в тюрьмах приносят развешенными - проверить, дают вам 500 граммов масла или 400, невозможно. Холодильников не было, мы как-то запрессовали сыр в банку, и он начал постепенно распухать, так что над банкой образовалось подобие грибной шляпки, я немного засомневался, но Женя срезал шляпку и с аппетитом съел, на следующий день снова выросла огромная шляпка - и он снова съел ее, мы уже думали, что в нашем распоряжении волшебный горшок, пища в котором не иссыкает, но от него пошел такой пронзительный запах, что нам пришлось сыр выбросить. Кормежка "на истощение" раздражала меня. Я сказал как-то баландеру, чтоб наливал погуще, надзиратель в ответ матерно выругался, баландер подхихикнул, и я через кормушку швырнул в них миску с разлетающимся во все стороны жидким горохом. Начальству мое положение было еще не совсем ясно, и ограничились вынесением мне выговора, от чего пища, конечно, не улучшилась. Я решил переменить тактику, дождался - ждать пришлось недолго, - когда дали явно несваренную кашу, конечно, без масла, и, поставив миску под кровать как вещественное доказательство, тут же сел писать заявление начальнику тюрьмы. Напиши я, что у меня больной желудок, что заключенных нужно кормить, не причиняя ущерба здоровью, то получил бы ответ, что тюрьма не санаторий и не надо было сюда попадать. Однако я уже знал, что в Советском Союзе жалоба может рассчитывать на успех, только если она облечена в форму доноса. Не взывая ни к каким гуманным чувствам, я написал, что регулярное кормление недоброкачественной пищей ниже нормы дает основание предполагать, что на пищеблоке происходят систематические хищения социалистической собственности в виде крупы, масла и других продуктов, и я прошу принять строгие меры и

наказать виновных. Успех превзошел самые смелые ожидания. Сначала пришла вольная повариха, хотела, что называется, "взять на горло", по-бабьи стала орать на меня, но я отвечал спокойно и твердо, видя, что враг паникует. На следующий день явилась целая делегация в зеленых мундирах во главе с майором и унесла кашу "для анализа": я успел вчера отнести кашу своему следователю и несколько раз сунуть ему под нос - каждый раз он брезгливо отшатывался, но все же известное впечатление это произвело. Наконец меня повели к начальнику тюрьмы полковнику Андрюхину, он и раньше заходил в нашу камеру, причем всегда заставлял меня вставать с унитаза: он начал видеть в этом скрытый вызов власти, и я пояснил, что он обходит весь корпус в те же часы, когда у меня кишечник начинает работу. Относясь к типу начальников с принципом "жить самому и жить давать другим", он ненужных осложнений хотел избегать, встретил меня как старого приятеля и сказал, что дело будет разобрано самым тщательным образом. На следующий день послышалось женское шушуканье, в глазок кто-то, заглядывал - и в раскрытую кормушку просунули суп, в супе плавало мясо, а каша была залита маслом. Так мы пиروвали целую неделю, затем все возвратилось "на круги своя". Что касается "анализа" каши, то он показал, что каша обладает всеми вкусовыми качествами, какие только возможны. Ежедневно, если не было дождя, нас выводили на прогулку - в бетонный дворик раза в три больше нашей камеры, с проволочной сеткой над головой, помню, как в июне пошел снег, и я подумал: суров Урал! Надзиратели, напротив, были добродушны, многие студенты-заочники юридического института, некоторые выражали симпатию, но я боялся, передавать им какие-нибудь письма, не веря ни им, ни своим сокамерникам. Над тюрьмой все время стоял гул, на многих окнах не было намордников или металлических жалюзи, и зэки перекрикивались, пока особенно отчаянных крикунов не тащили в карцер. Вот рядом с нами чей-то прибалтанный голос с солидными интонациями возмущается, что его приняли за "наседку", и грозит сокамернику, и вдруг в плавную речь врывается писклявый пронзительный крик: "Братва! Не верьте! Он пидарас, наседка!" Напротив наших окон была камера смертников, и один, рассудив, что терять уже нечего, кричал во все горло: "Да здравствует Сталин! Да здравствует Гитлер! Да здравствует Хрущев!" - уж кто-нибудь не придется по вкусу властям. И действительно, скоро крик захлебнулся. Слева и справа от нас сидели женщины, и поскольку наш корпус строился методом социалистического соревнования, то стены были тонкими и мы могли переговариваться. Женя, втягивая и меня, начал роман с правой камерой, но затем в окно увидел, как из левой выводят на прогулку более интересных девушек - и переменял ориентацию, к неудовольствию старых подруг, которые кричали в окно новым: "Проститутки! Ковырялки!" - лагерное прозвище лесбиянок. К нашим молоденьким соседкам посадили женщину лет тридцати, и мы прозвали ее "бабушкой", сделав тем самым роковую ошибку: "бабушка" прекратила всякие контакты. Кто получал продукты из дома или покупал в ларьке, часть несъедобного хлеба выбрасывал во двор, так что развелось множество голубей. Летом мы сняли раму, и голуби залетали через решетку поклевать хлеб на подоконник, Женя стал ловить их по несколько штук, мы под кроватями насыпали крошек и поставили воду, получился маленький зоопарк. Только что двое литовцев угнали самолет за границу, мы вырезали из газеты заголовок "Пусть бандитов судит советский суд!" - и повесили голубю на грудь. Это был самый пугливый и забитый голубь, но теперь остальные в страхе шарахнулись - так велика сила печатного слова. Мы выпустили его, чтоб он летал по тюремному двору, пугая слабонервных бандитов. Постепенно мы выпускали всех, последний наш голубь был ручной и необычайно умный, он сам взбирался на унитаз выпить воды и затем взлетал, как вертолет. Как-то, придя с прогулки, мы увидели, что голубя в камере нет, а рама вставлена и прибита. В тюрьме вообще приятно встретить живое существо, не похожее на человека. В том же Свердловске по пути в прогулочные дворики я встречал иногда кошек, прижившихся на пищеблоке, а менее казенно - при кухне, в Камышлове - двух лошадей, на которых возили дрова. Сидя в одиночке, я просил разрешить держать котенка в камере, но начальник тюрьмы ответил, что животных в камере приказом министра держать запрещено. Меня не вызывал следователь

более месяца, пока не "подтаю" немножко. Я сначала с нетерпением ждал вызова - неизвестность тяготит, потом успокоился, но как-то днем со стуком открылась кормушка и веселый голос сказал: "Амальрик, без вещей!" В тюрьмах с режимом построже спрашивали сначала: "Кто на "а"?" Кабинеты следователей находились в противоположном конце тюрьмы, меня вели через двор, через старый екатерининский корпус, мимо прогулочных двориков, я впереди, руки за спиной, надзиратель сзади, однажды с молодой надзирательницей мы даже прогулялись, взявшись за руки и дружески беседуя. Подследственных до и после допроса помещали в бокс, пока не придет выводной, но мне стали делать поблажки, заводя в пустой следовательский кабинет. Киринкин вызывал меня пять раз до окончания следствия. Каждый раз, не отказываясь разговаривать, я подтверждал отказ от дачи показаний, на вопросы по существу дела не отвечал и никакие протоколы не подписывал, поэтому он, чтобы не затруднять себя вызовами, стал в мое отсутствие заполнять протоколы никогда не бывших допросов, вписывая за меня "давать ответ на этот вопрос отказываюсь" и "от подписи отказался" - и даже один пометил числом, когда я был на этапе. Но поскольку сам по себе ничего дурного Киринкин мне не сделал, то и я не использовал против него эту оплошность. Он, однако, горько упрекал мне Гюзель за жалобу на него со ссылками на такие законы, которые он сам не знает; жалобу составляли три юридических светила - Есенин-Вольпин, Цукерман и Чалидзе, и каждый не хотел перед другим ударить лицом в грязь, я даже жалею, что мне самому не удалось прочесть такую замечательную жалобу. При обыске у меня была изъята "юридическая памятка" Есенина-Вольпина "Как вести себя на допросах", и Киринкин несколько раз раздраженно говорил: "Подумаешь, написал памятку, я бы в тысячу раз лучше написал!" Сидя в беспомощности в тюрьме, я очень переживал за Гюзель, боялся, что она запутается в показаниях - так оно и вышло; по счастью, без последствий для нее. По окончании следствия я рассказал следователю и адвокату, как до ареста я начал объяснять Гюзель, что именно ей надо показывать, а потом махнул рукой со словами: "Все равно, деточка, ты все перепутаешь!" В Свердловске Киринкин начал с угроз 70-й статьей, а потом и 64-й "измена родине" пахнет расстрелом, Я сказал ему на это, что вообще можно, когда меня поведут в камеру, стукнуть сзади кирпичом по голове - и делу конец; что мне могут переqualифицировать обвинение на ст. 70 и дать семь лет, я не исключал до кассационного суда, но разговоры о расстреле всерьез не принял. Я вообще посоветовал Киринкину быть осторожнее, сейчас ему говорят "жми и дави", но лет через двадцать может оказаться, что те, кто себя такими делами замарал, не смогут и на пенсию рассчитывать. Не знаю, принял ли Киринкин мои слова всерьез, но стал осторожнее, давал понять, что он только исполнитель, да и вообще опытный следователь без нужды с подследственным отношений не портит. Сказал он однажды, что переqualифицирует мои "деяния" со ст. 190 на ст. 70 лишь в случае письменного приказа, но не устного, - значит, побаивался все же. В другой раз заметил, что в автобусе такие разговоры приходится слышать от рабочих, что моя книжка кажется невинной. На него произвел сильное впечатление Якир: Якир заявил, что мои книги не считает ни антисоветскими, ни клеветническими и потому никаких показаний давать не будет. При мне Киринкин посоветовал другому следователю прочесть брошюру Сахарова "Размышления о прогрессе", добавив, что это очень серьезная работа. Владимир Иванович Коротаев был подключен к делу в конце июня, считался одним из наиболее проницательных следователей по уголовным делам, тем более не было ему смысла увязать в деле политическом, я видел его всего три раза, и он не задал мне ни одного вопроса. Киринкин спросил, знакома ли мне фамилия Убожко - я искренне ответил, что слышу в первый раз. У Убожко изъяли в Свердловске мое письмо Кузнецову, арестован он был в конце января, к середине марта допросы по его делу кончились - и он был направлен на психэкспертизу, думаю, с целью признания его невменяемым. Но, видно, в это время было принято решение присоединить меня к его делу, чтобы не судить в Москве, думали еще о Рязани, поскольку я "СССР до 1984?" дописывал в Рязанской области, но потом остановились на Свердловске. Убожко был признан здоровым и еще восемь месяцев ожидал в тюрьме, пока разберутся со мной, коротая

время за чтением Ленина. Как-то на прогулке я услышал в соседнем двореке громкий голос, рассказывающий о Москве, и подумал даже, не легендарный ли это Самохин, подельник моего сокамерника. Но оказалось, что это мой подельник, я увидел его впервые в октябре, когда нас водили знакомиться с делом. Оттолкнув конвоира, он бросился ко мне и со словами: "Поздравляю! Наша взяла!" - пожал мне руку. Только что Солженицыну присуждена была Нобелевская премия. - А вы знаете, что Солженицын уехал за границу, - сказал мне Киринкин. Вы как к этому относитесь? Я не поверил и решил, что просто прощупывают меня, как бы я отнесся к высылке. Слухи об этом ходили еще до моего ареста, но решение выставить меня за границу было принято только в конце 1974 года. В другой раз Киринкин спросил о моих статьях для АПН - разрабатывалась на всякий случай версия "двурушника", который для СССР писал одно, а для заграницы - совсем другое. Я ответил, что в АПН редактор делал сокращения и дополнения, не спрашивая меня, но больше разговор этот не поднимался, от версии "двурушника" окончательно отказались в пользу версии "недоучки", который сам не понимал, что пишет. К этой же серии "идеологических разговоров", дававшихся Киринкину с трудом, можно отнести зачтение письма вьетнамца из Нью-Йорка, он писал мне, что, увидев мою книжку, сначала испугался, так как верил, что к 1980 году в СССР уже будет построен коммунизм - одно из обещаний Хрущева! - но, прочитав, успокоился, я пишу чепуху, которую он мог бы легко опровергнуть. - Ну, достойное вы получили опровержение?! - спросил Киринкин. Я ответил, что опровержения как раз нет, ибо автор письма считает его слишком легким для себя, но если Киринкину это интересно, я могу написать вьетнамцу, чтобы он все-таки опровержение прислал - может быть, оно к суду успеет. Этот разговор не возобновлялся, но на суде прокурор вновь письмо зачитал. Несколько раз Киринкин пытался "ловить" меня. Спросил, почему я не в самиздат дал свои рукописи, а переслал за границу - пренебрегал, что ли, соотечественниками? Выступив от лица самиздата, он ждал, очевидно, что я скажу: как так не дал в самиздат, я дал тому-то и тому-то. Другой раз, выставив грудь: "Так убедите меня в правоте ваших взглядов!" - я вспомнил, как Яхимович "убеждал" своего следователя, пока не попал в психбольницу. Все эти разговоры велись без занесения в протокол, но если бы я сказал что-то интересное следствию, Киринкин мог бы изложить это в виде официального рапорта. В советских политических процессах есть сюрреальный элемент - жуткий и комический: обвиняемому, следователю, адвокату, прокурору и судье совершенно ясно, что все, кроме разве деталей, уже заранее решено, что-то может изменить только покаяние и предательство, а вовсе не юридическая доказанность или недоказанность того или иного эпизода, все тем не менее стараются соблюдать предписанные юридические процедуры, как бы участвуя в странной пародии на настоящее следствие и суд. Так, принесли даже магнитофон для экспертизы голоса, я ли действительно давал интервью Си-Би-Эс, - я отказался записывать голос. Провели экспертизу изъятых у меня машинок методологически неверную, так как сравнивали их только между собой, но не с машинками аналогичных марок. Экспертиза показала, что мои рукописи напечатаны на двух машинках, тем не менее у меня конфисковали все четыре, и никакие жалобы потом не помогли. К концу следствия я спросил Киринкина, как, собственно, собираются доказывать мое авторство. Я отказался от показаний, мои интервьюеры, хотя по советским законам их следовало считать соучастниками преступления, не допрошены - Билл Коул был выслан из СССР, а Джим Кларити сам уехал, издатели книг тоже не допрошены, ведь мало имени на обложке, надо доказать, что я написал книги. Киринкин растерялся, он даже не задумался над этим, и сказал: "Но что же подумают ваши друзья, если вы скажете, что не писали этих книг?!" 14 сентября Киринкин сообщил, что предварительное следствие окончено, и предложил ознакомиться с новым постановлением о привлечении в качестве обвиняемого - оно понадобилось потому, что в первом он забыл упомянуть мое письмо Кузнецову. Постановление было наполнено выражениями: "вздорные ситуации", "злые инсинуации", "бредовая идея", "гнусные измышления", "злопахательское интервью" и тому подобными. - Ну куда это годится, - сказал я. - Обвинилочки убийцам вы тоже так пишете? Ведь

фальшивый пафос и грубая брань смешно выглядят. Как ни странно, Киринкин прислушался - и обвинительное заключение написал более спокойно и менее оценочно. Сочетание казенного пафоса и базарной брани можно найти в любой советской и антисоветской газете, и достаточно стилистов, которым кажется, что если они назовут чужую идею "бредовой идеей", то с ней навсегда покончено, а еще лучший способ - слово "идея" взять в кавычки, прокурор иначе не называл мою книжку, как "произведение в кавычках". Отпуская меня в камеру, Киринкин сказал, что мое интервью показано по американскому телевидению - и с успехом! Видно было, что популярность подследственного радует его. Киринкин и Коротаев уверяли меня, что никак не могут разыскать ни мою жену, ни приглашенного ею адвоката Швейского, навязывая мне свердловчанина. Адвокат допускается только по окончании предварительного следствия, он может вместе со своим клиентом знакомиться с делом, подавать заявления следователю и прокурору, принимать участие в судебном разбирательстве, подавать кассационную и надзорную жалобы и участвовать в кассационном разбирательстве. Зависимость провинциальных адвокатов от местных судебно-следственных органов обычно велика, так что даже по сколько-нибудь сложным уголовным делам подсудимые предпочитают адвокатов из других городов. Практической роли в моем деле адвокат сыграть не мог, три года были обеспечены, но я видел в нем моральную поддержку и связь с волей. Кроме того, мне нужен был адвокат, который заявил бы на суде о моей невиновности это отвечало общей линии Демократического движения на легальное сопротивление. Поэтому я категорически от свердловского адвоката отказался. Наконец, 30 сентября Киринкин познакомил меня с прилетевшим из Москвы Владимиром Яковлевичем Швейским, лет пятидесяти, с приветливой улыбкой, курчавыми волосами, с голосом несколько гнусавым, вид у него был явно не арийский, и впоследствии он рассказал мне, как в период "борьбы с космополитизмом" пожилой русский рабочий, когда Швейский садился в трамвай, укоризненно сказал: "С таким носом, а лезет с передней площадки". Большинство известных мне адвокатов - евреи, тогда как ни одну еврейя-прокурора я не встречал. Я немножко похвастался перед адвокатом, что каждый день делаю зарядку и даже боксом стал заниматься, напади на меня следователь, я сумею дать сдачи - Киринкин принял это всерьез и страшно обиделся, с трудом я его успокоил. В другой раз он обиделся, когда Швейский заявление к нему от моего имени начал словами "я требую". - Ведь было бы вежливее написать "я прошу", - дрогнувшим голосом сказал Киринкин, и я переделал на "прошу", напомнив ему, что он обо мне написал в своих постановлениях. Он все время повторял, что мы все ведь хорошо понимаем, что заслуживаю я ст. 70 и лишь по исключительному гуманизму получу три года по ст. 1901- что суд даст меньше, и разговора не было. На следующий год он пригрозил ст. 70 одному еврейскому отказнику, тот ответил, что даже Амальрик получил только 1901, и Киринкин его утешил: "Ну, у Амальрика этим дело не ограничится".

Глава 12. ДЕЛО

Из девяти томов дела, по 200-300 листов каждый, три первых были посвящены Убожко, шесть последних - мне. Лев Григорьевич Убожко, старше меня года на два, по образованию физик, работал инженером в Москве и заочно учился в Свердловском юридическом институте - там же, где и многие ниши надзиратели, приехал сдавать экзамены, привез самиздат - и через несколько дней был арестован. Дело его состояло из изъятого самиздата, а также показаний свердловчан и девушек, с которыми Убожко знакомился, разъезжая по стране, каждая просила оставить ей что-нибудь на память, одной он дал брошюру Сахарова, другой письмо Солженицына, третьей обращение Григоренко. Он признал распространение литературы, подтвердил показания свидетелей, взгляды свои признал антисоветскими, но не отказался от них, никого сам не назвал. Три тома заняли мои рукописи, а также рецензия доцента Свердловского университета Б. Сутырина на мою работу "Норманны и Киевская Русь", - он заключал, что я не историк, и рецензия редактора журнала "Уральский следопыт" Л. Румянцева на мои пьесы - он заключал, что я не писатель. Пьесы абсурдны, малохудожественны, герои похожи друг на друга, какие-то кошмары, секс,

но при этом есть "приметы советской жизни", например, осведомители. "Используются и такие приемы: политрук Иванов становится резидентом китайской разведки Цу Сяо. Вообще Ивановых и Иванов Ивановичей Андрей Амальрик явно не жалует. В самом начале пьесы "Конформист ли дядя Джек?.." критик пересказывает содержание одной из пьес дяди Джека: "Действие первое: Цирлин насилует Ципельзона... Действие второе: Ципельзон насилует Цирлина... Действие третье: Цирлин и Ципельзон насилуют друг друга... Действие четвертое: жопа Ивана Иваныча переезжает в новые рабочие кварталы..." Можно было бы и не цитировать эту мерзость, но в абсурдности ее скрыт определенный смысл... В эту пьесу Амальрик вплетает так называемый "еврейский вопрос". Будучи малограмотным во всех отношениях, он и тут ничего вразумительного сказать не может. Но ему важно одно - бросить читателю грязненький подтекст, плеснуть мазута на угольки. С одной стороны выставить идиотами Ивановых, а с другой - поразглагольствовать о Ципельзонах. Всему этому беспрецедентному издевательству над русской историей, над Ивановыми, Иванами Ивановичами своего рода символами России - трудно даже найти определение". И, превратив жопу Ивана Ивановича в символ России, рецензент заканчивает: "Как бы Амальрик ни маскировал свой "еврейский вопрос" - уши торчат". - Боюсь, что рецензент потратил свой запал зря, писатель я или не писатель, но я не еврей, - сказал я Киринкину. КГБ очень деятельно искал у нас еврейских предков, у Убожко - несмотря на украинскую фамилию - нашли дедушку-еврея, у меня же никого, и остановились на том, что если я по крови не еврей, то еврей по духу - "уши торчат". На вопрос, зачем вообще в дело включены "Норманны" и пьесы, которые мне в вину не ставятся, Киринкин пояснил: "Для характеристики личности. А рецензия для того, что если вы начнете на суде говорить, что историк или писатель, то вот у нас наготове есть компетентные рецензии, что вы ни то, ни другое". В трех последних томах было несколько вырезок из советских и иностранных газет, распечатанный КГБ радиоперехват передач Радио "Свобода" обо мне, письма - на мою корреспонденцию арест был наложен в марте, а также многочисленные протоколы допросов и постановлений. В частности, постановление о выделении в отдельное дело по ст. 70 изъятых у меня при обысках "Двадцати писем к другу" Светланы Аллилуевой, "Все течет" Василия Гроссмана, "Мой дядя убил Михоэлса" Владимира Гусарова, "Трех отношений к родине" Владимира Осипова, сборника писем к Павлу Литвинову и "Похождений Вани Чмотанова" неизвестного автора. В конце концов было вынесено постановление дело по ст. 70 прекратить из-за недоказанности того, что я "распространял" эти книги, а сами книги сжечь - если книги действительно сжигают, а они не идут в архивы КГБ, то не на уличных же кострах, как в нацистской Германии, а есть, вероятно, специально отведенное место и исполнитель на скромном жаловании. Большинство писем было от иностранцев, которые прочли "СССР до 1984?". Помню письмо школьницы из Калифорнии, их класс писал работу по моей книге, книга всем - и ей в том числе - очень понравилась. "Но ведь это все неверно, что вы там пишете, не правда ли?" Автор одного письма из Голландии, не вдаваясь в оценку моих сочинений, предупреждал, что я связался с весьма опасным субъектом, а именно с Карелом Ван хет Реве. Про самого Карела он ничего не писал, но сообщал, что его брат во время диспута написал на доске: "Да здравствует капитализм!" По видимому, на Западе написать такое - все равно, что в России публично написать матерные слова. Бедному Карелу не повезло с родственниками, из-за брата он вызвал подозрение врагов капитализма, а из-за отца - "сталинского сокола голландской разведки", по выражению редактора русского журнала, - подозрение врагов коммунизма. Было пять писем от неизвестных мне советских граждан, которые слышали обо мне по радио и имели неосторожность написать мне с марта по май, все письма были выделены в "отдельные уголовные дела". Один из моих корреспондентов, рабочий из Архангельска, после вызова в КГБ "обещал не слушать зарубежного радио". Другой, пославший письмо без подписи и обратного адреса, где он писал: "побольше бы таких людей, как вы", и власти придется плохо, был через несколько месяцев разыскан КГБ, врач из Тулы на допросе держался уклончиво и пояснил, что его фразу нужно понимать в том смысле, что "если бы было много таких". Его судьба мне

неизвестна, как и судьба еще двух человек - из Выборга и Коломны. К моему собственному письму в картинно обгоревшем конверте - а именно "Письму Анатолию Кузнецову", посланному в Лондон московским корреспондентом "Дейли Телеграф", - был приложен протокол, что оно раскрыто только потому, что конверт случайно обгорел, а уж, ознакомившись с его содержанием работники Международного почтамта вынуждены были передать его КГБ. Я не понял сначала, по какому принципу следствие отбирало свидетелей, вызвали, например, сумасшедшую жену Зверева, показавшую, что видела у нас портрет Мао Цзе-дуна. Я сообразил потом, что вызывали тех, кто попал в поле внимания во время слежки перед арестом, часто совсем случайно. Соседи показали, что к нам ходили иностранцы, мы устраивали для них "нечто вроде банкетов". За одним исключением, все наши друзья дали "пустые показания" ничего не слышали, ничего не видели, ничего не читали. Только художник Фердынский, сменивший свою обоюдоострую фамилию на архирусскую Архаров, к которому я зашел перед арестом напомнить о денежном долге, старался угодить следователю: иностранцев он, правда, не видел, но "видел иностранные бутылки", жена моя, правда, "одаренная художница, но, выйдя замуж за Амальрика, стала писать хуже", "СССР до 1984?" он, правда, не читал, но пьесы - "малохудожественные вещи". В деле было как бы три вставных новеллы - комическая, трагическая и детективная.

КОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

В списке, приложенном к письму заместителя начальника Московского УКГБ генерал-майора Никулкина прокурору Свердловской области Журавлеву о "направлении материалов в отношении антисоветской деятельности Амальрика", под No 3 значилось "Заявление М. Б. Шульмана и письмо из США". М. Б. Шульман в своем заявлении в КГБ от 6 февраля 1970 года писал, что он честный советский человек и персональный пенсионер и с разрешения властей переписывается со своим дядей, тоже Шульманом, в Нью-Йорке, была приложена фотография довольно упитанного и ухоженного американца на фоне портрета Ленина с "Правдой" в руках; теперь же он получил письмо от дяди, которое сначала привело его в волнение, затем поставило в тупик и "выдержки из которого я обязан вам передать" - при этом прилагалось все письмо, а не только выдержки. Дядя-Шульман писал, что он всю жизнь очень успешно пропагандировал идеи социализма и коммунизма и достижения Советского Союза, но вот теперь получил журнал со статьей, якобы написанной советским гражданином в Москве, что СССР не доживет до 1984 года, "народ восстанет против большевиков и компартии", и что он после этого всю ночь не спал, над ним смеются соседи, и он просит Шульмана-племянника узнать, правда ли это. Письмо, совершенно по-ленински, кончалось вопросом: "На свободе ли еще этот мерзавец?!" Шульман-племянник, по зрелом размышлении, все эти поручения своего дяди решил переложить на КГБ. Меня удивило и огорчило, что человек, сам пользующийся полной свободой для высказывания своих взглядов, считает нужным, чтобы затыкали рот тому, кто с его взглядами не согласен. Я смог убедиться, что таких людей на Западе не так уж много - но огромно число тех, кто готов идти за ними, явно не понимая, куда их ведут. Шульман-племянник был сначала включен в число вызываемых в суд свидетелей, но затем вычеркнут: видимо, задумались, о чем же, собственно, он будет свидетельствовать.

Позднее, уже за границей, я узнал о судьбе Михаила Борисовича Шульмана. Он родился в 1906 году - в один год с моим отцом, служил в ЧК, вступил в компартию, был одним из основателей ансамбля песни и пляски Красной армии, в 1937 году был арестован и с 1939 по 1949-й провел в лагерях на Колыме, возглавляя там подпольную парторганизацию. В 1950 году был снова арестован, получил восемь лет, отбывал их на Воркуте, в 1955 году был реабилитирован и восстановлен в партии - оставаясь убежденным коммунистом. Не знаю, каковы были его взгляды в 1970 году, когда он получил это письмо от своего дяди, но в 1974 году он заявил, что "порвал с КПСС", и выехал в Израиль, "словно очнувшись после долгого и наполненного ужасами и кошмарами сна". Жив ли сейчас его американский дядя и в каких он с ним отношениях, я не знаю.

ТРАГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

В начале марта я получил письмо с Урала, из Златоуста, подписанное "Альберт". Альберт слышал обо мне и спрашивал, как мне писать - это было предложение какой-то обходной связи, но, ничего об Альберте не зная, я ответил, что он может писать просто по моему адресу. Следующее его письмо уже было арестовано на почте - я обнаружил его в деле, там было сказано только, что в июне он приедет в Москву и хотел бы со мной встретиться. Письмо было "выделено в отдельное уголовное дело", и "Альберт" был разыскан - им оказался "Булыга Борис Моисеевич, 1933 года рождения, образование высшее, член КПСС, не судимый, женатый, инженер". Беру все эти сведения из "Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела", постановленного в Златоусте 3 июля 1970 года. Далее там было сказано, что Булыга услышал обо мне по радио в марте, написал мне, что одобряет мои действия, 25 мая, узнав о моем аресте, в 8 часов утра пошел в областное управление КГБ, но никого там не застал из-за раннего часа. Тогда на металлургическом заводе, где он работал, он зашел в прокатный цех и бросился в нагревательную ячейку температурой 12 500°C; через двое суток были извлечены две металлические пуговицы - все, что осталось от Бориса Булыги. Почти все в этом постановлении ложь. Во-первых, Булыга в своих письмах ни о каком одобрении не писал, он хотел только встретиться и поговорить. Во-вторых, весьма сомнительно, чтобы Булыга пришел в УКГБ сам, тогда как было уже поручение о его допросе. Наконец, просто бессмысленно, что в УКГБ никого не было, всегда есть дежурный. Я уверен, что ни с каким доносом на самого себя Булыга не ходил, а был вызван УКГБ, как были в то время вызваны другие свидетели, и был настолько запуган, что, выйдя оттуда, кончил жизнь самоубийством: не единственный известный мне случай самоубийства после допросов в КГБ. Например, дело Елизаветы Воронянской, повесившейся после того, как она выдала КГБ рукопись "Архипелага ГУЛАГ". Булыга ничем не мог выдать меня, и сомневаюсь, чтобы он вообще кого-нибудь выдал, скорее, его самоубийство - следствие одиночества и подавленности в атмосфере советского провинциального города. Здесь КГБ особенно распускается, а человек чувствует себя особенно незащищенным, и когда ему говорят: мы вас раздавим, мы вас уничтожим, мы - это сила, вы от нас не уйдете, ваш Амальрик уже в тюрьме, а завтра вы там будете, - не трудно понять, какое отчаяние может охватить человека, лишенного чьей-либо поддержки и не уверенного в себе. Только в начале июля у Булыги был сделан обыск и допрошена жена; и обыск, и допрос - пустые; неторопливость, с какой был сделан обыск, и его результат подтверждают, что Булыга ни с кем связан не был и покончил с собой не из чувства вины, а из ужаса перед советской жизнью.

ДЕТЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ

31 июля была допрошена работающая на Казанском вокзале в Москве буфетчица Бабушкина. На вопрос Киринкина, не жил ли у нее кто-нибудь во второй половине июля, она без всяких экивоков ответила, что в это время у нее "никто из мужчин не ночевал". Я не только ни у какой буфетчицы не ночевал, да не мог ночевать в июле, но даже не знал о существовании Бабушкиной. Показывал, что он несколько дней жил у нее, Геннадий Михайлович Соснин. 27 июля дежуривший на Казанском вокзале милиционер Ефимов увидел - цитирую его показания - человека, "который ходил и собирал бутылки; кроме того, ко мне еще подошел один неизвестный гражданин и сказал, что у мужчины, который привлек мое внимание, имеется антисоветская литература". Геннадий Соснин, отсидев несколько лет в Грузии по неизвестному мне уголовному делу, приехал в Москву "хлопотать о пересмотре". Во время этих хлопот он ночевал на вокзалах и у случайных знакомых, поддерживая свое существование сбором пустых бутылок. В начале июля, отдыхая в сквере наискосок от главного здания КГБ на площади Дзержинского, он заметил под скамейкой чемодан. Раскрыв его в укромном месте, он увидел плотно скатанный в трубку сверток. "Деньги!" - подумал Соснин, но, к его разочарованию, это оказалась рукопись под названием "Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?". По словам Киринкина, рукопись понравилась Соснину, он хотел передать ее иностранцам, но не знал, как это сделать, и тогда решил отнести автору, мой адрес был в рукописи. Он заходил трижды, последний раз 26

июля - какая-то старуха сказала: "Дома нет!" На следующий день Соснин был задержан на вокзале, рукопись изъята и - поразительная осведомленность начальника милиции Казанского вокзала! - уже 28 июля вместе с рапортом милиционера и объяснениями Соснина направлена в Свердловск. Не трудно понять, что за Сосниным было наблюдение, когда милиционер задержал его по совету "неизвестного гражданина". Но с какого момента? Когда он приходил к нам домой - но едва ли за домом наблюдали, тем более что Гюзель не было в Москве? Как только он нашел чемоданчик - но он более двух недель беспрепятственно ходил с рукописью? Кто подбросил чемоданчик? Распространитель самиздата - но они не раскидывают по городу рукописи в чемоданах? Кто-то хотел отделаться от рукописи или передать другому - но не на самом же людном месте Москвы и не напротив КГБ? Тогда сотрудники КГБ - но зачем? Наконец, кто такой Соснин, действительно ли он случайно обнаружил чемодан? Не могу с уверенностью ответить ни на один из вопросов. Думаю все же, что это была провокация КГБ: начать "случайное" распространение книги и проследить цепочку передач, ведь никакого "распространения" мной рукописи установлено не было, даже упрекал меня Киринкин, что я в самиздат ее не передал - а вот, пожалуйста, рукопись циркулирует. Но Соснин с Бабушкиной оказались едва ли удачными распространителями самиздата, и тогда на операцию решили махнуть рукой.

- Как, Андрей Алексеевич, нравится вам наш город? - с гордостью спросил заместитель начальника тюрьмы, он и другой офицер шли по обе стороны от меня, у обоих было по пистолету, и меня предупредили, что будут стрелять при попытке к бегству. Утром 2 октября меня неожиданно вывели за ворота, мы шли парком, с уже пожелтевшей, но еще не опавшей листвой, и была такая прозрачность в воздухе, какая бывает в несолнечную, но ясную погоду. Не знаю, почему меня повели пешком, а не повезли в воронке - видимо, решили применить такую меру психологического воздействия перед судом. Идти было недолго - до прокуратуры, где показали мое телеинтервью. Собралось много народу, дамы в задних рядах ахали, Убожко в наиболее сильных местах аплодировал, начальник тюрьмы широко улыбался мне, я же чувствовал себя маленькой кинозвездой. Мне самому интервью очень понравилось, огорчило только, что при ответах я раскачивался взад-вперед, словно ванька-встанька или китайский болванчик, видимо, от непривычки. Суховатый еврей рядом со мной всем своим видом показывал отвращение ко мне на экране и неприязнь в зале, это был адвокат Убожко Хардин, которого настойчиво предлагали и мне. Как же бы ты защищал меня, голубчик, подумал я. Начальник следственного отдела Левин попросил объяснить ему, зачем я писал свои книги. Я ответил, что лучше всего это сумеет сделать Киринкин, полгода изучавший этот вопрос, и Левин тут же завел разговор, что вот-де некоторые евреи просятся в Израиль, а потом жалеют об этом. Советскому начальству всюду мерещатся евреи, еврейские козни, не исключая, что Левин - сам еврей, а значит, антисемит вдвойне, ибо его еврейство портит ему карьеру. У него были скверные отношения с Киринкиным, тот мне потом пожаловался, что у него уже просто терпения нет работать со своим начальником. Часть киноплёнки первого интервью Коулу все же удалось вывезти, а магнитную запись конфисковали целиком, ее через несколько дней прокрутили мне в тюрьме - все это называлось "предъявлением вещественных доказательств". Жена радиотехника, молодая, но изнуренная женщина, следователь милиции, зашла послушать и принесла своему мужу две сдобных булочки, после некоторой внутренней борьбы, однако, одну протянула мне. Знакомясь с делом, я расписывался по прочтении каждого тома и после просмотра и прослушивания пленок, и 6 октября, говоря языком заключенных, "подписал двести первую", то есть расписался в том, что на основании ст. 201 УПК РСФСР со всеми материалами дела ознакомлен. Швейский вылетел в Москву, и Киринкина я увидел последний раз через неделю, он познакомил меня со своими постановлениями в ответ на просьбы адвоката признать меня работающим, снять арест на инвалитету и разделить дела Убожко и мое. Последнее было отвергнуто, а два первых удовлетворены - прокурор все равно назвал меня на суде "тунеядцем", а валюту позднее у Гюзель отобрали. На прощанье я посоветовал Киринкину "уклоняться в будущем от подобных дел" - он не сказал ни слова. 29

октября в кормушку сунули обвинительное заключение, но не успел я рассмотреть его, как: "Амальрик, без вещей!" Меня ждал человек маленького роста, с сухим лицом и блеском в глазах - следователь по особо важным делам Рижской прокуратуры Какитис, бывший следователь Яхимовича. Он сказал, что вызвал меня по делу Лидии Дорониной, обвиняемой в распространении моих книг в Латвии. Допрос происходил так: - Были ли вы в Риге, знакомы ли там с кем-нибудь? - Был в 1965 году, ни с кем не знаком. - Вы ли автор произведения "Просуществует ли СССР до 1984 года?", кому вы его давали? Я отвечать отказался, сославшись, что вопрос имеет прямое отношение к моему делу, а я по нему показаний не даю - это была маленькая ловушка, чтобы потом на мой ответ сослаться как на доказательство моего авторства. - Кто передавал в Ригу произведение "СССР до 1984?" - Не знаю. Следователь снова схитрил, записал мой ответ: "Не знаю, кто передал мою книгу..." - и я его заставил вычеркнуть "мою". Затем он осторожно спросил, какого я мнения о Киринкине, он, дескать, следователь неважный, позднее я узнал, что в КГБ были недовольны, как Киринкин провел дело. Я сказал, что Киринкину поручили дело и он провел как сумел. Это были представители разной породы: Киринкин был бонвиван, я замечал, что как только стрелка часов приближалась к пяти, он начинал нервничать и елозить в кресле, как бы лишней минуты не переработать, Какитис же, чувствовалось, готов был вытягивать сведения и строчить протоколы ночами напролет, и вся жизнь его была в хорошо составленном протоколе допроса. Затем начался светский разговор. Сначала о моих книгах, которые он называл "произведениями", так что я спросил его, не учился ли он в дореволюционной гимназии, где гимназисты при чтении вслух объявляли "Пророк", произведение господина Пушкина", на что Какитис заметил, что в гимназии он не учился и имеет в виду "произведение в кавычках". Далее о том, что мне следовало бы дать семь лет, а не три, что после Сталина народ распустили, единственное в моей книге верно, что оппозиция началась с довольно невинных вещей, а значит, хочешь не хочешь, а надо сажать. - Сколько же можно сажать?! - заорал я на него так, что подслушивающий за дверью надзиратель забеспокоился. - Так вот вы и пожалейте советских граждан, Андрей Алексеевич, а то вы пишете "произведения", распространяете их, а потом мы вынуждены сажать тех, кто их читает, - ответил мне Какитис и неожиданно спросил, что мне известно о взглядах Майи Плисецкой, Мстислава Ростроповича, Аркадия Райкина и еще назвал несколько фамилий из артистических кругов. Я ответил, что я скромный почтальон, откуда я могу знать взгляды Плисецкой или Ростроповича? - Ну нет, ну нет, вы теперь вашей книжкой до некоторой степени стали в их ряды, - с улыбкой возразил Какитис, пригласил меня заходить к нему в прокуратуру, когда я буду в Риге, и отпустил в камеру. 11 ноября из Москвы прилетел адвокат: суд был назначен на завтра. Швейский рассказал, как он хочет строить защитительную речь, а я дал ему копии своего заявления на суде и последнего слова. Я спросил его, сможет ли он после суда передать их Гюзель, - "спросил" значит написал на бумажке, которую тут же уничтожил. Швейский ответил, что он должен подумать - и после суда категорически отказался. Конечно, это был удар для меня, я рассчитывал передать свои слова через адвоката на волю. Мне трудно судить, согласился ли бы он в других условиях, но известную роль сыграло то, что Гюзель прилетела не одна, а с двумя знакомыми. Я сам через Швейского передал ей, чтобы она приехала на суд с кем-нибудь, но боюсь, что она сделала неудачный выбор когда я узнал, что с ней прилетела Лена Строева, я прямо похолодел. Я познакомился с Леной я 1962 году, она произвела на меня впечатление женщины доброй, но неуравновешенной. После возвращения из ссылки я ни разу не видел ее, и Гюзель не была с ней знакома, но как только меня посадили, она предложила Гюзель свою помощь. Она как-то не отдавала себе отчета, что мой адвокат - не диссидент, как я, а государственный служащий, во время суда настраивала Гюзель против Швейского, мне кричала в коридоре, что им нужно мое последнее слово, после чего за мной даже в туалет стали заходить конвоиры, того же громогласно потребовала у Швейского - представляю, как он был напуган. В 1971 году КГБ предложил ей на выбор: или эмигрировать, или сесть в тюрьму, - так она оказалась в Париже, где быстро разочаровалась в жизни за границей и в русской эмиграции и написала письмо в

советское посольство, что, если ей разрешат вернуться, она даст показания против всех диссидентов. Не давая разрешения, в посольстве начали допрашивать ее по делу Якира и Красина - и наговорила она довольно много. Представляю, как Швейский, читая ее показания в деле своего подзащитного Красина, радовался, что в свое время не дал ей мои записи. Вскоре после этого она повесилась в своей парижской квартире.

Глава 13. СУД

Я волновался, дадут ли мне побриться вовремя, вот стучат чайниками по коридору, вот разносят кашу, вот, успокаивая меня, приносят бритву и помазок - я бреюсь новой бритвой, а безденежным давали затупленные бритвы богачей. Наконец, с грохотом растворяются двери камеры, в день суда даже у надзирателей вид церемониймейстеров. Областной суд был рядом с тюрьмой, но воронок все ехал и ехал - нас завезли на самую окраину, в один из районных судов, побоявшись, что в центре может собраться толпа, здание было оцеплено милицией, перекрыт этаж, где происходил суд, подходить к окну нам не разрешали. Еще в боксе в машине я слышал чей-то уверенный, несколько бубнящий голос, как лектор бубнит с кафедры, да и что-то похожее было на лекцию о международном положении - неужели политработа с личным составом не прерывается и при перевозке заключенных? Оказалось, однако, что это агитирует конвой Лев Убожко, он продолжил свою беседу и в комнате, куда нас ввели. Начальник конвоя растерялся, спорить с ним или молчать; сунулся политрук, послушал немного и испуганно ушел. Из наших конвоиров я запомнил двух молчаливых казахов, русского с неразвитым лицом доносчика и разбитного чеченца. Он сказал, что на месте властей, вместо того чтобы сажать диссидентов, собрал бы их и выслушал, чем они недовольны и чего хотят. Он спросил меня также, слышал ли я об Авторханове - историке, живущем в Западной Германии, и очень был обрадован, что я даже читал его, - чеченцы, как маленький народ, гордятся каждым известным земляком. По окончании срочной службы хотел он поступить в школу КГБ, и я подумал, что в таком случае не стоит ему при своих товарищах говорить об Авторханове. Убожко горячился, что если снова будут волнения и беспорядки, как в Новочеркасске в 1962 году, войска стрелять в народ не будут: "Вы же вот не будете стрелять в ваших матерей и братьев?!" Чеченец, помявшись, сказал, что не будет, остальные промолчали. Зашел полковник в очках в золоченой оправе - такие очки носит Брежнев, а вслед за ним все начальство до определенного уровня, и полковник, видимо, находился на самой нижней границе, чином поменьше такие очки были бы "не по чину" - и, блистая очками, потребовал, чтобы мы дали на просмотр суду свои записи. Убожко дал - это были конспекты и выписки из Ленина, с помощью которых он хотел защищаться, но я отказался - я не хотел, чтобы заранее знали, что я собираюсь сказать. Полковник и капитан, начальник конвоя, угрожали отобрать бумаги силой, я ответил, что в таком случае ни слова не скажу на суде. - Да не говори, вот напугал! - сказал капитан, но в интересы высокого начальства это не входило. После того как я начал кричать: "Кто вы такие?! Что вы вообще здесь делаете?!" - полковник вышел и был достигнут компромисс, что бумаги при мне просмотрит только начальник конвоя, тот перелистал их с полным безразличием. Суд начался в 10.30, в зале было человек пятьдесят, все с явно чиновными лицами. Мы сели на скамью за барьером, по обе стороны двое солдат, перед нами наши адвокаты, а напротив обвинитель - помощник прокурора области Зиновий Зырянов, лет пятидесяти, с какой-то кожной болезнью: все лицо его было в красных пятнах и прыщах. Красные пятна прокурора как бы бледным отсветом ложились на лицо девушки-секретаря, этот цвет часто можно встретить у девушек, недоедающих, чтобы купить себе сапоги или кофточку. - Прошу встать! - воскликнула она, и вошли наши судьи. Председательствующий, член облсуда Алексей Сергеевич Шалаев, был, напротив, внешности довольно благородной, седой, старше прокурора, он походил отдаленно на Жана Габена, а еще более отдаленно на моего отца - и носил то же имя и отчество, процесс он вел спокойно, был вежлив, но, как многие люди, начавшие учиться поздно, говорил безграмотно и читал по бумажке, запинаясь. Я совсем не запомнил "народных заседателей" - помню только, что это были мужчина и женщина. Последовала обычная процедура: объявление дела, состава суда, запрос о свидетелях, их

удаление из зала, выяснение личности обвиняемых. На вопрос, нет ли отводов к суду, я кратко ответил, что нет, Убожко долго и невразумительно говорил, что судить нужно по совести и если судьи народ совестливый, то у него отвода нет. Были заданы вопросы, получили ли мы копии обвинительного заключения, заявлены и отклонены ходатайства о вызове дополнительных свидетелей и разделении дел. Судья зачитал обвинительное заключение, после чего спросил сначала Убожко, а затем меня, признаем ли мы себя виновными. Убожко, зная, что я не признал себя виновным, заявил теперь, что и он себя виновным не признает, а частичное признание на следствии объяснил тем, что следователь неправильно написал, а он подписал, не подумав как следует. На политических процессах главная задача предварительного следствия и суда заставить обвиняемого признать себя виновным и покаяться; если он вину не признает - дела его плохи, но если сначала признает, а потом отрицает плохи вдвойне. Если бы Убожко "вину" признал и объяснил все своей "политической незрелостью", сказав, что он дозрел на следствии в тюрьме, как дозревает помидор в темноте, то получил бы года полтора, а если бы меня осудил при этом, то год. Он, как человек честный, этого делать не стал, но вместе с тем до конца суда не понимал, что судьба его решена, и воспринял происходящее сюрреально, так, он сказал мне, что один из заседателей смотрит на него с сочувствием - и это обнадеживающий знак. Конфликт Убожко с системой был конфликт идеально понимаемого ленинизма с ленинизмом на практике; воспитанный в советской идеологии, он ее воображаемые черты все еще переносил на действительность - его поэтому и сами власти признали "психопатической личностью". Он говорил мне, что советская система сошла с намеченного Лениным пути - и наша задача ее на этот путь вернуть, с выводами моей книжки он согласен, но я пришел к ним "методом стыка", случайно, а следовало прийти к тем же выводам на основе здорового марксистского анализа. Я зачитал подготовленное заявление, что "никакой уголовный суд не имеет морального права судить кого-либо за высказываемые им взгляды. Противопоставление идеям, все равно, истинны они или ложны, уголовного наказания само по себе кажется мне преступлением... Этот суд не вправе судить меня, поэтому я не буду входить с судом ни в какое обсуждение моих взглядов, не буду давать никаких показаний и не буду отвечать ни на какие вопросы суда. Я не признаю себя виновным в распространении "ложных и клеветнических измышлений", но не буду доказывать здесь свою невиновность, поскольку сам принцип свободы слова исключает вопрос о моей вине". Когда я кончил и протянул заявление судье, тот взял со словами: "Для протокола". Поскольку я отказался, судья предложил давать показания Убожко. Как лектор-международник, Убожко был на встрече лекторов с секретарем МГК КПСС Шапошниковой, и, отвечая на вопрос о романе Солженицына "Раковый корпус", она сказала, что роман не печатают как слишком мрачный - все зааплодировали, кроме Убожко, который решил сначала прочесть роман. В Москве, в проезде Художественного театра, он познакомился с неким Виктором, и тот доставал ему "Хроники", Сахарова, а потом и Солженицына. Когда Солженицына исключили из Союза писателей, Убожко согласился подписать письмо в его защиту. Ему назначили свидание в метро, где девушка, имени которой он не помнит, дала ему письмо для подписи и спросила, нет ли у него машинки. Машинка была на работе, девушка сама напечатала "Письмо Анатолию Кузнецову" и один экземпляр дала ему - при этом Убожко оборотился ко мне и сказал, что ему понравилось, как я критикую Кузнецова за бегство, но что письмо очень длинно и разбросано, надо писать яснее и короче, он также не может поверить, что я уже мальчиком имел какие-то убеждения: "У нас у всех убеждений не было!" С приобретенными у Виктора бумагами он приехал в Свердловск, где читал своим знакомым Ходакову и Устинову главы о Сталине из "Круга первого" Солженицына. - Здорово кроет Сталина! - восхищенно добавил Убожко. - По-моему, глупо кроет Сталина! - перебил его судья. Убожко закончил, что "Хроники" и мое письмо он дал своему другу Смирнову, чтобы тот прочел, если захочет. Фразу же, что он "скоро будет в Кремле или на Колыме", он просто в шутку сказал одной знакомой. Я передаю общую канву его показаний, главным же образом он говорил о своих отношениях с женой, думаю, борьба с женой и превратила Убожко в того

непримиримого борца, каким он предстал на суде. Уроженец Урала, он после окончания института захотел остаться в Москве, и друзья посоветовали ему фиктивный брак: жених платит невесте обусловленную сумму, они регистрируют брак, и "невеста" уже как законная жена "прописывает" его у себя - конечно, "муж" устраивается как-то иначе, но имеет право жить в Москве. "Жену" для Убожко нашли, и он даже "захотел с ней жить по-настоящему", но выяснилось, что у нее до свадьбы был любовник, от которого она ждет ребенка. Убожко бросился разводиться, разведенная "жена" доказывала, что Убожко - это и есть отец ребенка. Состоялось двенадцать судов об отцовстве, каждый из которых принимал другое решение, а тем временем мать ребенка потребовала уплаты алиментов. Думаю, получив срок, Убожко, по крайней мере, был утешен, что "невеста" осталась у разбитого корыта - с зэка много не возьмешь. Говорил он и о своих конфликтах на работе, в которые вовлекал постепенно министров, перескакивал с одного на другое, но снова и снова, как на заколдованное место, возвращался к семейной истории. Судья несколько раз просил его держаться ближе к делу, вместе с прокурором спрашивал, знаком ли он со мной, с Якиром, где взял бумаги. Убожко отвечал, что со мной он незнаком, а у Якира был несколько раз, но никаких бумаг у него не брал. После этого запутанного допроса объявили перерыв, и я внезапно увидел Гюзель в коридоре, мы обнялись и поцеловались, не успели конвоиры опомниться. Когда я увидел, что ее нет в зале, Швейский успокоил меня: им только в последний момент сказали, где будет суд, его повезли с прокурором, а Гюзель с ее друзьями пришлось добираться самим. Лену и ее товарища задержала милиция при входе, я говорил с судьей, и на следующий день оба были допущены, хотя записей делать им не дали. Гюзель как свидетельницу пустили в зал только в конце дня, у нее был с собой портативный магнитофон, но батареи сели. Первым свидетелем был Смирнов, по доносу которого якобы началось дело. У него был вид интеллигентного рабочего, печальный и спокойный, он хромал на одну ногу. Он сказал, что раньше работал вместе с Убожко, сблизило их то, что у обоих были машины, Убожко научил его играть в шахматы, человек он добрый, но горячий - в ответ на вопрос адвоката; в январе Убожко дал ему бумаги, которые он просмотрел и отнес в "органы", - в ответ на вопрос прокурора. Здесь Убожко, как человек добрый, но горячий, закричал: "Женя, не расстраивайся, я знаю, что у тебя КГБ делал обыск и заставил задним числом написать заявление!" СУДЬЯ(перебивает). Нет больше вопросов? Я. У меня есть. СУДЬЯ. Пожалуйста. Я(подражая прокурору). Так вы все же взятые у Убожко бумаги прочитали или только перелистали? СУДЬЯ. Встаньте! Вопросы нужно задавать стоя. Я(вставая). Но прокурор, я вижу, задает вопросы сидя. СУДЬЯ. Ему так положено. Я(Смирнову). Так можете вы сказать точно, вы читали мое письмо? СМИРНОВ. Нет, не читал, только перелистывал. Я. Не читали, но сказали, что оно "показалось враждебным". Почему? СМИРНОВ. Там говорится о лагерях. Я. Разве у нас нет лагерей? Разве не лагерь ожидает Убожко и меня? Вы сказали, что сдали в органы; в органы прокуратуры? (Тут я расставлял маленькую ловушку Смирнову: хотя следствие вела прокуратура, его заявление было адресовано в КГБ.) СУДЬЯ. Задавайте вопросы, которые касаются только вас лично. Я. Но вы же сами признали наше дело общим, значит, все, что касается Убожко, касается и меня. СМИРНОВ(не попадаясь в ловушку). В органы КГБ. Я. Убожко назвал вас старым другом, вы называли его другом, почему же вы не поговорили со своим другом, не постарались переубедить его, а пошли сразу в КГБ? СУДЬЯ(отвечая за Смирнова). Это его право, такого мнения он придерживается. УБОЖКО(отвечая за Смирнова). У него был обыск, и КГБ его заставил. СМИРНОВ(отвечая за себя). Убожко упрямый человек, он не стал бы меня слушать. Я сказал Смирнову, что так поступать нельзя, а здесь хотел написать, что вот до чего извратились у нас все моральные понятия, если человек - пусть по принуждению - доносит на другого, свидетельствует против него и оба продолжают считать себя друзьями. Но история Смирнова - это обратная сторона истории Бульги. Оба из провинциальных городов, лишенных общественной жизни, оба с большим любопытством к борьбе, которая происходит где-то вне их мира, но прямо касается их, оба хотят узнать или сделать что-то, но не успевают они прикоснуться к "запретному плоду", как тяжелая рука ложится на них, и им

начинает казаться, что есть только два выхода: гибель - для Булыги или предательство - для Смирнова. Ходаков и Устинов, которым Убожко читал Солженицына, держались по-разному. Психиатр Ходаков, рыхловатый блондин-еврей, старался свои показания на предварительном следствии смягчить, говорил, что к чтению не прислушивался, и не Убожко им дал Солженицына, а они сами с Устиновым попросили у него, было видно, что он чувствует себя неловко. Журналист Устинов и его крысиномордая жена держались уверенно: да, Убожко высказывал враждебные взгляды, выдавал себя за сотрудника ЦК ВЛКСМ, за члена "организации Якира", советовал "проветрить мозги" и так далее. Устинов "первый обратил внимание, что книги враждебные", а смотрел "только из профессионального интереса". - А жене зачем давали? - спросил судья. Допрошен был начальник Убожко, показавший, что Убожко вместо работы играл в шахматы и читал лекции о международном положении, а подчиненным поручил ремонтировать свой автомобиль. Учительница Кучина, толстенная девушка лет тридцати в очках, показала, что с Убожко ее познакомила подруга и она "была удивлена странным освещением им некоторых проблем", он, в частности, "допустил три антисоветских высказывания": во-первых, сказал, что в правительстве должна быть интеллигенция, во-вторых, похвалил Хрущева, в-третьих, говорил, что хочет стать членом Политбюро. Под смех в зале Убожко пояснил, что он имел в виду сменяемость людей у власти, чтобы руководители не обюрокрачивались. Я. Скажите, Кучина, что антисоветского вы усматриваете в словах, что в правительстве должна быть интеллигенция? Разве теперешние наши руководители, по-вашему, не интеллигентные люди? КУЧИНА. Нет, Убожко неодобрительно о них отзывался, говорил, что должна быть интеллигенция в правительстве. Я. А что антисоветского в том, что Убожко хвалил Хрущева? Он что, антисоветской деятельностью занимался на посту первого секретаря ЦК КПСС? Кучина промолчала, и я спросил, что - хотя это и вызвало смех - разве это не естественное желание для настоящего советского человека стать членом Политбюро, ведь теперешние его члены тоже когда-то хотели ими стать? Так сказать, плох тот солдат, который не хочет стать генералом, или, наоборот, хорош тот, кто несет в солдатском ранце маршальский жезл. Судья не дал Кучиной ответить и объявил перерыв на 30 минут. Сам Убожко довольно игриво отнесся к ней, сказал: "Привет, Света!" - и, когда она выходила из зала после своих замечательных показаний, хлопнул ее рукой по заду прямо со скамьи подсудимых. По моему делу были допрошены всего двое свидетелей: служащий таможни Станишевский и Гюзель. СУДЬЯ. Что вам известно по данному делу? СТАНИШЕВСКИЙ(долго думает). По данному делу мне ничего не известно. СУДЬЯ. А вы не помните обстоятельств, при которых была изъята пленка у американского журналиста Коула? СТАНИШЕВСКИЙ. Я выполняю на таможне в Шереметьево функции политического контроля. Я остановил Вильяма Коула, корреспондента Си-Би-Эс, аккредитованного при АПН, который при выезде из СССР хотел пронести несколько бобин с кинопленкой. Я спросил, что у него такое. Тот отмечает: музыка. Поскольку вывозить кинопленку 16 мм и шире можно только с разрешения Министерства культуры, я задержал его и подверг пленку досмотру. Оказалось, что это не музыка, а запись интервью. СУДЬЯ. Что именно за интервью? СТАНИШЕВСКИЙ(долго думает). Телефильм я не видел. Пленку слышал частично, но не помню, боюсь ввести суд в заблуждение, было давно. Помню хорошо, что когда мы пленку изъяли, быстро отреагировали соответствующие товарищи. ПРОКУРОР. Значит, пленку изъяли только потому, что была 16 мм? СТАНИШЕВСКИЙ. Конечно. Ни Швейский, ни я вопросов ил задела. Можно было спросить, что если дело упиралось только в 16 мм, так не проще было бы, не изымая пленки, направить Коула в министерство за разрешением. Задав Гюзель, как и всем свидетелям, вопросы о месте и годе рождения, национальности, месте проживания и занятии, судья торжественно сказал, что хотя она и моя жена, ее гражданский долг говорить правду - что ей известно по данному делу? ГЮЗЕЛЬ(робко). Известно, что мой муж, Андрей Амальрик, незаконно арестован. СУДЬЯ(любезно). Незаконно арестован следственными органами? ГЮЗЕЛЬ. Да. СУДЬЯ. Что вам известно о публикации за рубежом книг вашего мужа? Он автор книги

"Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?" ГЮЗЕЛЬ(как я учил ее). Я ничего не знаю. СУДЬЯ. Но вы-то читали книги вашего мужа "Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?", "Нежеланное путешествие в Сибирь" и другие? ГЮЗЕЛЬ(гордо). Конечно, читала! (В зале смехи.) СУДЬЯ. А что вам известно о телеинтервью? ГЮЗЕЛЬ. Ничего не известно. СУДЬЯ. Мы вам напомним. Там, кстати, есть и ваш голос. Судья сказал, что поскольку я от показаний отказался, будет прослушана запись интервью - телеинтервью показывать не стали, чтобы не вводить людей в соблазн. Прослушали маленький кусочек - о психбольницах и об отношении "советских людей" к США, заседатели всем видом показывали ужас и негодование. СУДЬЯ(выключая магнитофон). Я думаю, достаточно. (Мне.) Это ваш голос? Я. Я не буду давать показаний. СУДЬЯ.(Гюзель). Вы узнаете голос вашего мужа? ГЮЗЕЛЬ. Не знаю. Может быть, это монтаж. (Негодование в зале.) Следующее заседание началось в 10 часов утра речью прокурора. Недавно мы отпраздновали пятидесятилетие советской власти, с первых дней ей предсказывали крушение - сначала через недели, потом через годы, пророчества не сбылись, что "пророков" не остановило. Жена Амальрика скачала, что он автор разбираемых книг, он этого не отрицает, не правда ли? "СССР до 1984?" - несерьезная книга, сам пишет, что это - результат "не исследований, а наблюдений и размышлений", следовало бы сказать "измышлений", а "вот что говорят его единомышленники": "произведение незрелого ума" (цитата из передач Радио "Свобода"). Предсказание термоядерной войны с Китаем - вздор, захват власти армией - вздор, 1984 год - взят с потолка, "очевидно, что это клевета. Как вообще клеветник может дать правильную оценку?" Прокурор дважды процитировал Сахарова: положительный отзыв о социализме (как противопоставление моим "измышлениям") и отрицательный о сталинизме (как пример распространяемой Убожко "клеветы"). Мои книги объяснил озлобленностью после ссылки - с точки зрения властей, им должны быть благодарны за репрессии как за воспитательную меру и ожесточение рассматривается как противоестественная неблагодарность. Об Убожко прокурор говорил мало, но потребовал нам обоим по три года. Речь его была мягче, чем я ожидал. Хардин, адвокат Убожко, делал упор на то, что Убожко - психопат, увлекался самим процессом борьбы, видел "фактики", но упустил "главную правду", был любопытен, но не враждебен, не ставил цели распространения, процитировал слова его матери: "Выброси этот мусор из головы!", нельзя ставить Убожко на одну доску с тем, кто сознательно писал и действовал враждебно. Свел он к тому, чтобы Убожко дали срок по фактически отбытому. Хардин строил свою речь по-профессиональному убедительно, но, по-моему, не следовало безоговорочно осуждать все, что говорил его подзащитный, а также выгораживать его за счет другого. В начале своей речи Швейский полностью присоединился к данной прокурором оценке советских достижений. Мои убеждения он находит странными и даже враждебными, но - не касаясь их существа, что значило бы разойтись с интересами подзащитного, - являются ли они "клеветническими и заведомо ложными"? Он анализировал смысл и область применения ст. 190и доказывал, что книги - выражение моих убеждений, пусть ошибочных, но никак не клевета. Он упомянул мое исключение из университета, необоснованную ссылку, привел цитату из постановления XXII съезда КПСС, что разоблачение "культы личности" может вызвать "издержки и подавленность", отнеся меня к этим издержкам, и воскликнул, что "доказывать нашу правду нужно не судом, а успехами коммунизма и силой наших убеждений". Поскольку все написанное мной - не клевета, он просит дело прекратить и освободить меня из-под стражи. Это была хорошая речь, если учесть возможности советского адвоката на политическом процессе, где ему положено соглашаться с прокурором и только просить о снисхождении. С началом Движения за права человека появились и адвокаты в Москве, которые строили защиту или отрицая часть эпизодов, утверждаемых обвинителем, или давая им иную оценку; первой очень смелой речью была речь Бориса Золотухина, адвоката Гинзбурга на процессе 1968 года. Он был исключен из партии и из коллегии адвокатов, и власти начали более или менее независимых адвокатов лишать так называемого "допуска", то есть права участвовать в политических процессах. Право это, нигде в законе не оговоренное, представляется президиумом коллегии

адвокатов по согласованию с КГБ, а точнее - по указанию КГБ. Швейский - впоследствии он повторил эту тактику и на других защитах - от оценки моих взглядов уклонился, распространения не касался и сосредоточился на вопросе умысла, то есть самооценки - при этом он преступил запретную черту, потребовав оправдания. Он всячески подстраховывал себя, нахваливал, например, виденный им колхоз в отличие от описанного мной, но едва он вернулся в Москву, тут же начался процесс его исключения из партии. Ставилось ему в вину, что он "по-партийному" не осудил мои взгляды на суде, и на его исключении настаивал член Политбюро Кириленко, пока еще не смененный моим подельником Убожко. Говорили, что наш процесс из зала суда транслировался в Москву, не знаю, правда ли это, какая-то аппаратура с выводным кабелем в зале была. Швейский сообщил Гюзель, что он не сможет участвовать в кассационном разбирательстве, но исключен он не был, на кассации присутствовал и "допуск" сохранил. Власти понимали, что всегда найдутся решительные подсудимые, которые предпочтут отказаться от адвоката, чем брать слишком зависимого, а это создаст трудности процедурного и пропагандного характера: вот, мол, даже без адвоката осудили - власти чувствительны к этому, а также им не всегда нужен прямой нажим, но иногда неуловимое давление, неформальный передатчик от суда к подсудимому и наоборот. Швейский перед моим последним словом спросил, не смогу ли я, пусть не признавая вины, сказать или что я многое продумал во время этого суда, или что суд открыл мне глаза на вещи, о которых я раньше не думал. Не сомневаясь, что говорит он это не по своей инициативе, я ответил: "Какой смысл, все равно три года", - тоже для передачи, ибо "органы" не понимают и не верят, когда говорят об убеждениях, но практические доводы схватывают на лету. Швейский, умевший балансировать где-то на самом острие, был для властей наименьшим злом, и в процессах с достаточно упрямыми и известными подсудимыми он и впоследствии участвовал и требовал их оправдания. Последнее слово Убожко начал с цитаты Ленина, что советскому строю угрожает бюрократическое перерождение, и, желая ленинскую мысль проиллюстрировать, перешел к своим конфликтам на работе, лекциям о международном положении, женитьбе, двенадцати судам из-за ребенка - и на этой теме окончательно увяз. Последнее слово, в котором просят обычно снисхождения или оправдания, законом не ограничено, но, как правило, бывает кратким - между тем прошло уже более часа, а Убожко все продолжал говорить о жене. Маленького роста, но по-спортивному крепко сбитый и мускулистый, с рыжеватыми полосами вокруг ранней плечи, он чувствовал себя как бы снова на трибуне лектора-международника, тем более что в зале сидел партийный актив, и так энергично взмахивал рукой, что я отодвигал от него стоящий на барьере стакан: один из конвоиров время от времени подносил ему воду, от долгой речи у него пересыхало в горле. Временами мне было интересно его слушать, временами из-за вызванного судом напряжения я начинал ненавидеть его за эту болтовню, в зале слышались смешки, зевки и побряхтыванье. Несколько раз судья прерывал его: "Убожко, ближе к делу", - а в ответ па ленинские цитаты сказал: "Вы цитируете хорошие вещи, мы Ленина читали, читаем и будем читать, но сейчас это к делу не относится". Но Убожко продолжил цитировать Ленина и рассказывать о своей борьбе с женой и властью, с горечью заметив: "Кого это не коснулось, тот этого не поймет, вот прокурор раздает срока: этому три года, тому три года, а посадить бы его самого хотя бы на три месяца!" - Убожко, не оскорбляйте прокурора! - вскричал судья. - Я его не оскорбляю, - ответил Убожко и, кое-как закруглив с женой, перешел к подробнейшему анализу обвинительного заключения, затем пространно заговорил о пьянстве, росте преступности - в зале раздалось шиканье, кто-то крикнул: "Есть ли жизнь на Марсе?" - Убожко, это к делу не относится! - но судья постучал и в адрес тех, кто шумел. - Дело в том, что у людей нет сознательности! - воскликнул с горечью Убожко; имел ли он в виду, что у сидящих в зале нет сознательности или у всего народа оттого, что народ разочаровался в ленинской идеологии, а разочаровался он в ней по вине перерожденцев-бюрократов, которые в этом зале не хотят выслушать Убожко, но как бы то ни было, он махнул рукой и кратко сказал, что просит суд его оправдать и вынести два частных определения: о восстановлении его на работе и признании ребенка его жены не его

ребенком и с облегчением выпил стакан воды, тут же поднесенный конвоиром. С таким же облегчением судья объявил перерыв на полчаса. Не знаю, хотел ли он устроить передышку или же рассчитывал, что за эти полчаса Швейский уговорит меня смягчить линию. В своем последнем слове я сказал, что преследование за взгляды напоминает средневековье с его "процессами ведьм" и индексами запрещенных книг. Власти понимают, что развалу режима предшествует его идеологическая капитуляция, но могут противопоставить идеям только уголовное преследование и психиатрические больницы. Страх перед высказанными мною мыслями заставляет сажать меня на скамью подсудимых, но этот страх лучше всего доказывает мою правоту, мои книги не станут хуже от бранных эпитетов, какими их здесь наградили, мои взгляды не станут менее верными, если я буду заключен за них в тюрьму. Главная задача моей страны - сбросить с себя груз тяжелого прошлого, для чего ей необходима критика, а не славословие. Я лучший патриот, чем те, кто, разглагольствуя о любви к родине, под любовью к родине подразумевают любовь к своим привилегиям. Ни проводимая режимом "охота за ведьмами", ни этот суд не вызывают у меня ни малейшего унижения, ни даже страха. Я понимаю, впрочем, что многие будут запуганы, и все же думаю, что начавшийся процесс идейного раскрепощения необратим. Никаких просьб к суду у меня нет. Я читал заранее написанный текст с большим напряжением, ожидая, что судья прервет меня с первых слов, но он не прервал меня. Несколько секунд было полное молчание, затем судья объявил: "Суд удаляется на совещание, которое продлится примерно пять часов". Около восьми вечера нас снова ввели в зал. Приговор повторял обвинительное заключение, оба мы получили по три года: я усиленного режима, Убожко общего (*). Кроме того, суд вынес частное определение, но не о жене Убожко, как тот просил, а о моей: милиции было поручено проследить, работает ли Гюзель и не занимается ли "антисоветской деятельностью".

(* Существуют четыре лагерных режима: общий - для впервые совершивших преступления; усиленный - для впервые совершивших опасные преступления; строгий - для совершивших преступления повторно, а также особо опасные государственные преступления; особый - для рецидивистов. *)

Суд был проведен корректнее, чем я ожидал, однако с точки зрения правовой - даже в рамках советских законов - ниже всякой критики. Очевидно, суд, исходя из смысла ст. 1901, должен был изучить три пункта. 1. Ложность написанного и сказанного мной, то есть несоответствие действительности, а также порочащий характер этого. Судом этот пункт считался само собой разумеющимся, только в речи прокурора содержался некоторый анализ одной из инкриминируемых мне книг - "СССР до 1984?", но не с точки зрения ложности приводимых в ней фактов, а с той, что она "порочит советский строй". Так же и в приговоре всякий критический отзыв о системе приводился как синоним ложного, у системы существует нечто вроде "презумпции правды". 2. Заведомость лжи, то есть вопрос, искренне ли я заблуждался или знал, что все написанное мной - клевета; при условии, конечно, что ложность уже была ранее доказана. Речь адвоката целиком была посвящена этому, но прокурор и суд этого не коснулись. 3. Распространение. Суд тоже считал его само собой разумеющимся, раз мои книги изданы за границей. В деле, однако, не было ни одного показания, что я передавал их кому-то, в конце концов рукописи "Путешествия в Сибирь", "СССР до 1984?" или "Письма Кузнецову" могли быть похищены у меня и изданы без моего ведома - в этом случае я не мог нести ответственности за их распространение. Не было установлено, действительно ли я давал интервью Кларити и правильно ли он цитирует мои слова. Статья о живописи не была нигде опубликована, обнаруженный у меня экземпляр не обязательно предназначался для распространения. единственно установленным фактом можно считать интервью Коулу, но его распространение имело место в США и в Западной Европе, следовательно, относилось более к компетенции американских и европейских судов. При выходе из зала Гюзель бросила мне цветы, которые начальник конвоя вырвал и тут же растоптал - видимо, в нем сказались накопившаяся за два дня злоба. Гюзель подобрала эти цветы, засушила и хранила, пока их не постигла судьба всех засушенных воспоминаний:

рассыпаться в прах. Когда нас заталкивали в воронку, я последний раз увидел Убожко.

Глава 14. ТУДА, ОТКУДА НЕТ ВОЗВРАТА

Приговор переживается почти как новый арест. На следующий день Швейский сказал, что подаст кассационную жалобу в Верховный суд РСФСР; исходя из непризнания суда, сам я решил приговор не обжаловать. На вопрос, сможет ли он передать Гюзель текст последнего слова, он твердо ответил: нет. Оставался последний шанс: свидание с Гюзель. Пока я говорил со Швейским, последнее слово в буквальном смысле слова навязло у меня в зубах. Еще рано утром, подтачивая карандаш заранее припрятанным лезвием, я мелкими буквами переписал свои речи на суде, плотно сложил, обмотал целлофаном и перевязал ниткой - маленькую капсулу я спрятал во рту и держал там все время, чтобы привыкнуть и говорить естественно. Я записал то же самое на обычном листе, который спрятал в брюках - я надеялся, что на обыске перед свиданием найдут этот листок и успокоятся, я нарочно смял его, чтобы сказать, что вовсе не собирался передавать его жене, а захватил как туалетную бумагу, и правда, при вызове к следователю или прокурору, моим врагам, я оставался спокоен, но перед встречей с Гюзель или с адвокатом начинались спазмы кишечника. Я не мог переписать все незаметно от Жени - хотя осужденных сразу переводят, меня оставили с ним в той же камере. Он мог меня выдать и когда меня водили к адвокату, и теперь, когда меня сразу же вновь вызвали. Двое надзирателей обыскали меня, нащупали бумагу под хлястиком брюк - и с удовлетворенными лицами отнесли в соседнюю комнату. Затем меня ввели в комнату свиданий, и я увидел Гюзель. Женя не выдал! Нас посадили по обе стороны длинного стола и предупредили, что нельзя целоваться и касаться друг друга, под столом шел сплошной металлический барьер. В конце сидели две надзирательницы, внимательно слушали и смотрели. Но, по крайней мере, мы видели друг друга и могли говорить - такой разговор всегда начинается немного сумбурно, хочется сказать о чем-то важном, но высказывают пустяки. Я хотел узнать, не трогали ли Гюзель все эти месяцы, и она рассказала, как за ней перед поездкой в Свердловск ездила черная машина и оттуда кричали: "Гюзель, смотри, хуже будет!" Мне казалось, что у нас впереди еще много времени, свидания дают до двух часов, но не прошло и двадцати минут, как надзирательница сказала: "Свидание закончено!" И хотя мы заспорили, ясно было, что это бесполезно, они уже тянули нас в разные стороны, и тогда, перегнувшись через широкий стол с повисшими на нас надзирательницами, мы с Гюзель обнялись и поцеловались, и, целуя ее, я попытался просунуть ей языком в губы свой целлофановый пакетик - мысль о нем сидела у меня в голове все время свидания, - но Гюзель не понимала меня, она видела в этом поцелуе только прощальную нежность и любовь - и пакетик чуть было не упал на стол, Гюзель, однако, подхватила его и быстро сунула в рот. - Она что-то проглотила, проглотила! - закричали обе надзирательницы. - Дочка, проглотила, а потом покакай! - успел я крикнуть, я не сомневался, что изо рта у Гюзель могут вытащить мое послание, но едва ли станут резать живот. Я услышал, как Гюзель спокойным голосом отвечала надзирательницам, что она ничего не глотала, а просто у нее от волнения выпала слюна изо рта. В течение месяцев я повторял свои речи наизусть, думая, что если у Гюзель их все же отобрали или они растворились в желудке, я снова продиктую их на личном свидании в лагере. Гюзель рассказала потом, что от волнения у нее так пересохло в горле, что она никак не могла проглотить капсулу, наконец, судорожно глотнув, проглотила - и тут же появился врач, и Гюзель действительно испугалась, что ей будут делать кесарево сечение, и стала возбужденно повторять свою версию с вылетевшей слюной, но врач недоуменно и с некоторой усмешкой послушал ее и ушел, сказав, что медицина бессильна что-либо сделать. Продержав Гюзель около двух часов, ее выпустили. - Мы думали, что тебя арестовали, - бросилась к ней Лена, которая дожидалась со своим другом у тюрьмы. - Ты получила последнее слово? Да? Где оно? - Оно здесь, - сказала Гюзель, указывая на желудок. Боясь, что мои речи там долго не выдержат, они бросились в ближайший ресторан. Под удивленными взглядами с соседних столиков, Гюзель смешала водку с портвейном, поперчила и один за другим выпила два стакана и, почувствовав, что ее мутит, нетвердыми шагами пошла в туалет: "С первой попытки ничего

не вышло, но я поднатужилась, и меня вырвало еще раз - и, о радость, в раковине лежит неповрежденный пакетик, так хорошо упакованный, что только одно слово растворилось". Гюзель рассказала еще, что когда они прилетели в Свердловск, в аэропорту кто-то кричал в рупор: "Товарищи, кто на конференцию энергетиков?" - и несколько человек с их самолета, молодых и пожилых, но все с солидными портфелями, бросились к нему. На следующий день Гюзель входит в зал суда все "энергетики" уже здесь, мы так и прозвали этот суд "конференция энергетиков". Через три дня меня перевели в другую камеру, необычайно тщательно обыскав и изъяв все записи. "За что сидите? За политику? О, это дело сложное, почти как шмон" - сказал старшина, держался он со мной вежливо. Вскоре молодой человек в штатском возвратил мне мои бумаги, за исключением английских упражнений, отосланных на проверку в Москву. Несколько дней я провел один, а после моей жалобы ко мне посадили полуидиота лет восемнадцати, со сплюснутым затылком, сидел он за изнасилование и привел то же объяснение, что и более здравомыслящие насильники: "Сама дала". Я проводил дни за чтением, делал долгую зарядку по утрам и даже продолжил заниматься боксом, подвешивая и колотя свою подушку, по принципу блатных: бей своих, чтобы чужие боялись. Мой сокамерник, когда не спал, молча смотрел на меня из угла, не делая мне ничего дурного, но его присутствие действовало тяжело, так что в конце концов я сам попросился сидеть один. 1 декабря мне сообщили, что дело направлено в Верховный суд, а через день рано утром взяли на этап. В тюрьме всякое перемещение внезапно, но это было совсем необычно: приговор в законную силу еще не вступил, этапировать в лагерь меня было нельзя, неужели в Москву? Час проходил за часом, а я продолжал сидеть на истертой скамье или расхаживать по тесной этапной камере, любясь на закиданные бетоном и забрызганные грязно-розовой краской стены - в снах о тюрьме, которые мне снятся до сих пор, всегда присутствует этот цвет. Я взглянул на часы в коридоре, когда меня выводили: была полночь. После небрежного обыска дежурный как-то растерялся и наконец повел по длинному коридору. - Куда меня повезут? - спросил я. - Машинист паровоза знает! - ответил майор с нежной улыбкой и распахнул дверь, предлагая войти. Я вошел и встал на пороге - большая комната была полна женщин. Очевидно, был приказ держать меня "изолированно от людей", но свободных камер не было, и майор рассудил по русской поговорке "Курица не птица - баба не человек". Все толпились рядом с дверьми в мужскую камеру, но когда ввели меня, начался постепенный отлив, так что в конце концов большинство окружило меня и стало расспрашивать, за что я сижу и почему посажен вместе с ними. Было несколько женщин лет за сорок, но больше молодых, некоторые совсем девочки. Уже по числу этаплируемых видно было, что поезд пойдет не в Москву, женщин этапировали в Новосибирск, в лагерь, - но куда меня? Мы проехали около четырех часов, когда лязгнул замок - я спал в одиночке, положив рюкзак под голову, - и конвоир скачал; "Выходи!" Поезд стоял на маленькой уральской станции, еле освещенной качающимся под пронзительным ветром фонарем. Был страшный мороз, снег отчетливо скрипел под сапогами конвоиров, скалились собаки, нас человек шесть, в том числе одну девушку, выстроили по двое ин снегу и повели по безлюдной платформе. "Камышлов" прочитал я на здании вокзала. Тюрьма была рядом, город был маленький; как мне говорила потом Гюзель, с красивой церковью и вкусным хлебом - конечно, церкви я не видел, а хлеб получал отвратительный. Наутро меня ввели в кабинет начальника, черноволосого капитана лет сорока, в валенках, тут же сидели его заместители по политработе и оперработе. Меня встретили настороженно, но не враждебно, расспросили о деле, поспорили - но без взаимных оскорблений, - хороша ли советская власть, и начальник сказал, что камеру, но крайней мере, мне приготовили хорошую. Предстояло снова сидеть одному: хотя одиночное заключение запрещено законом, мне пояснили, что своим примером я могу оказать дурное влияние на других, после моих жалоб через два месяца вынес районный прокурор специальное постановление. Как я мог понять, перевод и одиночка - наказание за речь на суде. Первый вечер тяжел и тосклив, потом рутина все сглаживает. Людей, не склонных к внутренней работе, одиночное заключение - даже не очень долгое может привести к психическим расстройствам. Для более интеллигентных оно переносимо легче, иногда в лагере, где почти

невозможно побыть одному, я даже мечтал о спокойной камере, но все же одиночество тяжело. Я не мог получить никаких книг для занятий, даже учебника английского языка, и вообще никаких хороших книг: библиотека была еще беднее свердловской. Чтобы занять свой мозг, я каждый день заучивал наизусть какую-нибудь страницу, должен признать, что механическая память у меня слаба. Я продолжал зарядку, избиение подушки, а также сминал клочок газеты, обтягивал носовым платком и бросал об стену получившийся мячик. Не могу сказать, что я замечал в себе сильное отклонение от нормы, но стоило услышать скрежет ключа, как начинало колотиться сердце. Мне также часто снился сон, что меня внезапно освобождают, я приезжаю в Москву - и мне не к кому идти, никто меня не ждет, я никому не нужен, и вдруг я вспоминаю, что есть Якир, Якир ждет меня и будет рад встрече со мной. Пожалуй, мое одиночество не было полным. Три раза в день меня кормили, и однажды раздатчица прошептала: "Напишите потом, как нас здесь кормят". Два раза в день заходил дежурный офицер, и я докладывал, что в камере один человек, - на третий месяц, пресыщенный одиночеством, я молча смотрел на него. Раз в день меня выводили на прогулку, тоже одного; несмотря на сильные морозы, я старался гулять час, хотя надзиратели торопили, чтоб самим не мерзнуть на вышке; однажды я пропустил несколько дней и заметил, что мне стало хуже. Раз в неделю меня водили в баню, неплохую, и я мог сказать два слова с молчаливым банщиком. Заключенный обязан мыть свою камеру, но, возвращаясь с прогулки, я видел, что все вымыто, даже бумажки и книжки аккуратно разложены: мыли полы женщины из соседней камеры, к их чести надо сказать, что за все время они у меня ничего не украли, кроме присланного Гюзель куска мыла - это простительно для женщин, учитывая черное и крошащееся подобие мыла, которое нам выдавали. Скоро я нашел записку: кто я и за что сижу? - а затем у меня завязалась переписка с одной из соседок, иногда мы оставляли письма под деревянной решеткой и туалете. Лида - я видел ее мгновенье, пока дежурный не захлопнул кормушку, - оказалась невысокой блондинкой, несколько толстоватой, ей было двадцать шесть лет, она работала учительницей, перешла директором в быткомбинат и через четыре месяца получила четыре года за растрату. Мои письма носили отвлеченный характер - так Вольтер писал Екатерине II, но ее с каждым разом становились все более страстными, она писала, как мечтает отдаться мне, хочет хранить мне верность все время, пока я буду сидеть, и упрекала за холодность. Время от времени ко мне заходил или вызывал к себе добродушный врач. После медицинского он кончил исторический факультет, но перейти работать замполитом отказался. "Я врач, - говорил он с улыбкой, - держу полный нейтралитет". Часто я обращался с разными просьбами к начальнику тюрьмы капитану Рубелю - вроде того, чтоб воду для чая кипятили, а не давали холодной. Рубель относился ко мне по-человечески, как по-человечески он отнесся к Гюзель, когда она приехала на свидание. В Камышлове не делалось попыток унижить меня, напротив, если Рубель что-то мог сделать, не нарушая своих инструкций, он шел мне навстречу - например, приказал давать мне книги не раз в неделю, а по требованию. Раз в месяц тюрьму обходил одноглазый районный прокурор, однажды был инспектор УВД с лицом язвенника и начал придирается, почему у меня четыре тетради, нельзя больше одной, - и тут же спросил, есть ли у меня какие-нибудь пожелания. - Только одно, - ответил я, - чтобы вы ушли из моей камеры. Настолько же любезней, насколько важней был первый секретарь Камышловского райкома, и, пока его свита стояла у дверей, мы присели на мою железную койку и побеседовали дружески. - Вы же не будете отрицать, что уровень жизни у нас с каждым годом повышается? - спросил секретарь, выслушав мои туманные рассуждения о скорой гибели советского режима. - Не буду. Но уровень жизни и в Китае повышается, и почти во всем мире, это не есть особенность нашей страны. - Мы вчера смотрели с женой ваш фильм по телевизору, - обрадованно сказал мне начальник тюрьмы, когда меня ввели к нему с очередной жалобой на холодную воду. - Нам очень понравился, и вдруг смотрим - режиссер Амальрик. - Это мой дядя, - отвечал я, очень огорчив начальника, что режиссер такого замечательного мультфильма не сидит у него в тюрьме. Этому дяде, после того как вышли мои книжки, на студии намекнули, что с такой фамилией лучше фильмы больше не

делать. Слегка уязвленное чувство гордости за свою тюрьму у капитана Рубеля было вскоре восстановлено: 17 декабря об одном из его заключенных, а именно обо мне, поместила статью "Правда". Не могу сказать, что вся статья "Нищета антикоммунизма" была посвящена мне, начиналась она с того, чем кончилась речь секретаря райкома, с "бурного роста материальных сил Советского Союза", затем с неодобрением говорилось об "агентах империалистических разведок", "маститых профессорах дезинформации", "продажных писаках из буржуазной прессы", "заокеанских мракобесах" - но с похвалой о противостоящих этим темным силам Бенджамине Споке, Дике Грегори, Нормане Мэйлоре, Поле Гудмане, Анджеле Дэвис, Ральфе Абернети и сенаторах Вильяме Фулбрайте и Маргарет Смит. Кончалась эта статья тем, что "советские люди повышают политическую бдительность... и это должны твердо усвоить организаторы и исполнители антисоветских идеологических диверсий". Цель была "дать установку", как относиться к Нобелевской премии Солженицыну, моему осуждению и предстоящему аресту Буковского. Обо мне автор статьи "некий" И. Александров - говорят, что это псевдоним "главного идеолога" М. Суслова - писал: "Взять, к примеру, некоего А. Амальрика, которого "Вашингтон Пост" величает "историком" и автором "захватывающих, блестящих" творений... Чуть ли не каждый день Амальрик обивал пороги иностранных корпунктов, подсовывая их хозяевам грязные слухи и сплетни: из них потом лепились "достоверные корреспонденции". Из этих же слухов и сплетен падкие на антисоветчину западные издатели изготовили целые две книги, одну из них сейчас навязывают американскому читателю по цене 6 долларов 95 центов. Именно последнее - доллары - и привлекло больше всего Амальрика..." У советской печати есть несколько градаций для врагов: "некий" - самое пренебрежительное; "небезызвестный" - выше рангом, но по-настоящему известности не заслуживающий; наконец, "известный" - этой чести я удостоился только семь лет спустя, когда та же "Правда" написала обо мне "известный скандалист Амальрик". В лагере я достал в библиотеке "Правду" с "Нищетой антикоммунизма" и охотно показывал ее энкам, которые здраво говорили: "Какая же нищета, когда ты кучу долларов огреб!" Один валютчик - уже настоящий, а не "мелкий клеветник-валютчик", как я был назван, - сказал: "Ну, они действительно не доживут до 1984 года, если у них нет других аргументов". В конце концов статья у меня была конфискована как используемая в целях враждебной пропаганды. - Как же так, - был озадачен начальник тюрьмы, - тут пишут "пришлось познакомиться с органами правосудия", изъята валюта - между тем в приговоре сказано, что вы ранее не судимы, и ни слова о валюте. - Вот и судите, какую "правду" пишет "Правда", - ответил я. "Правда" была тогда полна статей о "героической Анджеле Дэвис", члене американской компартии. Она купила оружие для черного подростка, который застрелил судью и еще несколько человек, и за это была арестована и судима. Всех встреченных мной убийц, насильников, грабителей доводило до исступления, что превозносят как героя возможного соучастника убийства - когда г-жу Дэвис оправдали, стон стоял в лагере. По тому, что пишут советские газеты о загранице, можно понять, что волнует их дома - процесс г-жи Дэвис был выбран как своего рода противовес политическим процессам у нас, в частности моему. Анджела Дэвис не подвела своих защитников: когда к ней обратились за поддержкой арестованные в Чехословакии либеральные коммунисты, она ответила, что социалистическое государство вправе наказывать своих врагов. Читая в той же "Правде", как тяжело приходится уругвайским коммунистам, я действительно сочувствовал им безотносительно к их идеологии, в уругвайской тюрьме - лучше ли, хуже ли, чем в советской, но достаточно тяжело. На примере г-жи Дэвис я понял, что идеология может убить в человеке наиболее человеческое - способность к сопереживанию, к сочувствию, к состраданию. Прочитав заметку, что она в тюрьме дала интервью о "нечеловеческих условиях", в которых ее содержат, я спросил начальника, почему же ей в "нечеловеческих" условиях дают встретиться с телевизионной командой, а мне в "человеческих" условиях не разрешают свидания с женой. "Потому что у них капитализм, а у нас социализм", - ответил капитан Рубель. В конце февраля, однако, мне разрешили свидание с Гюзель, после того как пришло определение Верховного суда.

Необычайно долгий срок ожидания заставлял и надеяться на лучшее - такова уж неисправимая природа человека, и опасаться худшего - переквалификации на ст. 70; только после упоминания трехлетнего срока в "Правде" я успокоился. Определение без изменений повторяло приговор. Свидание нам дали на два часа, сидел рядом молодой начальник оперчасти, но в разговор не вмешивался. С вступлением приговора в законную силу я из подсудимого превратился в осужденного и ждал отправки в лагерь. Мне вручили письма и телеграммы, которые я раньше не имел права получать, и я сам мог написать первое письмо - одно из трех в месяц. Я писал уже летящей в Москву Гюзель: "Я смотрю на себя как на исследователя и путешественника, который на три года отправился изучать жизнь диких зверей в пустыне и обычаи папуасов в Новой Гвинее, и хотя путешественник понимает, что его ждут лишения, неприятности и даже опасности, научный интерес и жажда исследований все перевешивают". Ночью второго марта меня принял конвой этапа, идущего на Новосибирск. Мое привилегированное положение кончилось: впервые я очутился вместе и наравне с другими зэками, несколько фигур и грязно-серых бушлатах и с такими же серыми и одинаковыми лицами сидели и лежали в купе. Я думал, что меня повезут в ближайший к Камышлову лагерь, но начальник тюрьмы перед отъездом ничего не скачал и посмотрел как-то странно, так же посмотрел на меня сквозь решетку вагона пожилой старшина, держа в руках пакет с моим делом. - Антисоветчик, что ли? С таким сроком - и на Колыму! Вот оно, роковое слово. Так, значит, меня не оставят на Урале, не повезут на Алтай, в Западную Сибирь, в Забайкалье или даже на Сахалин: представлялись бескрайние ледяные просторы Колымы, дующие с Северного Ледовитого океана ветры, колымская трасса, выстроенная на человеческих костях, золотые рудники - самая отдаленная и страшная часть лагерного архипелага тридцатых - сороковых годов, и самая знаменитая лагерная песня вспоминалась:

Будь проклята ты, Колыма,
что названа чудом планеты,
сойдешь поневоле с ума
отсюда возврата уж нету...

- Антисоветчик, - сказал я, почувствовав даже гордость за то, куда меня решили загнать. - Ну, выходи, - старшина отодвинул решетчатую дверцу и молча повел по проходу. - Здесь будет поудобнее, - и он с улыбкой распахнул дверь предпоследней камеры, где нас оказалось трое на три полки. Мне еще случалось встречать не злых начальников конвоя, но, сравнивая с 1965 годом, конвой стал и жестче, и распущеннее, особенно молодые лейтенанты, недавние выпускники офицерских училищ МВД. Отсутствие контроля сверху и сопротивления снизу, делаая грубого и неустойчивого молодого человека полным господином над двумястами людей на двое суток, растлевало их довольно быстро, то же происходило и с солдатами, особенно если давал пример офицер. Меня на перегоне Свердловск - Камышлов так швырнул здоровенный ефрейтор, что я пролетел из конца в конец вагона, другой раз лейтенант, с которым я заспорил, начал орать: "Прав был Берия, что вас, антисоветчиков, расстреливал!" Со мной как политическим считались все-таки больше, а так тот же конвоир-бериевец прямо сапогом затрамбовывал зеков в купе. Могли издеваться, не давая воду или не выводя в туалет, случалось, избивали зэков - тех, кто особенно надоедал конвою, а какую-нибудь женщину, правда с ее согласия, заводили в купе к начальнику. Не хочу обеливать и зэков, особенно малолеток, они иногда нарочно злили конвой, все же если конвоиры спокойны, вовремя выводят в туалет, дают воду, отвечают без грубостей, то и зеки ведут себя сдержанней. Иногда от конвоиров можно услышать, что служба их тяготит и они ждут не дождутся, когда она кончится. - Пошел быстрее, ёбаный в рот! - кричала миловидная женщина в форме, стоя в дверях камеры и подгоняя нас, пока мы, только что высаженные из воронка, тянулись по коридору новосибирской тюрьмы. В так называемом приемнике камере для новоприбывших - стояла уже плотная толпа. Молодой красивый парень, явно блатной, в меховой тапке, с нервным лицом, еле протискиваясь, кружил по камере. - Слушай, друг, у тебя срок впереди, а мне через месяц на волю, махнемся шапками? - сказал кто-то. Ни слова не говоря и даже не останавливаясь, тот снял с себя шапку и напялил на просителя.

Подземными переходами с тусклыми лампочками на мокрых стенах нас развели по камерам. Стояло несколько шатких вагонок, но мест свободных не было даже на полу, пришлось устраивать гнилой матрас под вагонкой, вроде шахтера в старом забое. Неожиданно мне уступил место на койке малолетка, с лицом немного калмыцким и с доброй улыбкой, и правда добрый: его назначили в колонии баландером, и в первый же день он раздал недельный запас сахара. Перейти по достижении восемнадцати лет из колонии для несовершеннолетних в лагерь называется "подняться с малолетки на взросляк", некоторые до "малолетки" успели побывать в "короедке", то есть в колонии правонарушителей до четырнадцати лет. Кто попадет в лагерь взрослым, есть еще надежда вырваться из этого круговорота, но кто прошел малолетку - для того надежды нет. - Ты за политику? Трояк получил? - спросил мужик лет пятидесяти, говоря по-лагерному, понтовитый, он и на особом режиме побывал, и в Заполярье, и там, и сям. - Ну, ты так скоро не выберешься, я тебя такого не первого вижу, вашему брату дают трояк для затравки, а как подходит конец, набавляют новый. - Выберешься, выберешься, уйдешь по звонку! - тут же вмешался добрый малолетка. По закону на этапе не должны держать больше двух недель, что само по себе много без возможности занять себя чем-то, но могут держать и дольше. Чтобы вырваться скорей, я решил подать жалобу на тяжелые условия, с наивным расчетом, что администрация скажет: отправим скорей этого кляузника дальше. Нашлись еще любители, а те, кто писать не умел, попросили других, так что мы корпусному при обходе вручили целый пук жалоб - не исключая, что он тут же направил их в ближайшую мусорную корзину. Однако возникший в камере дух недовольства и неповиновения искал выхода - и я предложил не отдавать после обеда миски, пока не получим ответа. Едва мы подкрепили силы водянистым борщом и подгнившей капустой, как в кормушку просунулась упитанная морда баландера. "Миски сдавайте!" - крикнул он, как обычно. "Сам забирай, падла!" - ответил ему мой малолетний друг. Показался дежурный контролер - в Москве их называют вертухаями, а в Сибири дубаками, затем корпусной с угрозами и угрозами, но возбужденная камера шумела и кричала: "Забирай сам! Отправляй нас отсюда! Пошел на хуй!" - а наиболее отчаянные стучали мисками, начался Великий Мисочный Бунт. Увы, опьянение борьбы было недолгим - через полчаса дверь распахнулась, и старшина скомандовал: "Выходи!" За его спиной стояли несколько надзирателей и наряд солдат. Камера зашумела, те, кто был подальше от двери, застучали мисками, солдаты, говоря военным языком, начали перестраиваться для атаки, и тут наши ряды дрогнули, кто-то первый, оторвавшись от толпы, вышел из камеры, за ним потянулись остальные, последними покидали камеру мы с малолеткой, оставляя за собой кучу грязных мисок, те же, кто хотел подчеркнуть свою лояльность к властям, выходили с миской в руке. Тут же происходило отделение овец от козлиц: большинство разводили по соседним камерам, а нескольких жалобщиков, и меня в том числе, повели в подвал, и мы оказались в камере смертников: с вмурованными в стену и в пол металлическими койками и столом, с кормушкой, устроенной так, что не видишь контролера. А то водившего нас в баню старшину с сиплым голосом и буденновскими усами однажды, когда он сунул голову в кормушку, малолетки схватили с двух сторон за усы и держали, пока не подспела помощь: он осип от крика, но усы не сбрил. Крошечное окно под потолком выходило в цементную яму, дневной свет не проникал в камеру, а лампочка едва светила. Где-то произошел засор, и из унитаза, булькая, стала подниматься зловонная жижа. Через несколько дней у меня стала кружиться голова, затошнило, становилось все хуже, начало рвать, камера плыла и раскачивалась перед глазами - я едва добрался до койки. Я слышал, как сокамерники стучат, вызывая врача, но надзиратель из-за двери отвечает, что врача не будет, мы вас сюда болеть не звали. Последнее, что я помню: входит старшина и выкликает мою фамилию на этап... Комната, очень маленькая, белая и светлая, я лежу на кровати и не могу пошевелить ни рукой, ни ногой, не могу вспомнить, где я, что со мной, кто я, только на следующий день я вспомнил свое имя и через два-три дня фамилию. Я вспоминаю какие-то вагоны, куда-то везут меня - но все это как бы в дымке, неясно, и вдруг всплывает совершенно отчетливо: мешок, у меня был мешок с вещами - и этот мешок

связывает меня, как бы нереального, с реальной прошлой жизнью. Я перевожу взгляд и вижу, что у другой стены на койке сидит мужчина, то ли в сером, то ли в белом, и смотрит на меня - я не знаю, что полчаса назад он уносил труп с этой койки. - Где мешок? - с трудом поворачивая язык, спрашиваю я. - Смотри-ка ты, очнулся, - говорит он удивленным и обрадованным голосом. А мы думали, ты помрешь. Меня бреют, чтобы показать, как говорят, "генералу", какое-то лицо в очках склоняется надо мной - но не генеральское, и мне кажется, что это мои очки на нем, я говорю: "Зачем украл мои очки?" - и на этом впечатления первого дня кончаются. Неделю я пролежал в этой комнате, поняв сначала, что я в больнице, потом - что я в лагерной больнице, а уже потом - что я лежал в палате смертников, куда помещали безнадежных перед отправкой в морг. Когда в камере старшина выкликнул мою фамилию на этап, я уже не мог подняться, на меня надели бушлат и, взяв под локти, протащили по коридору со скрюченными уже руками и ногами - начальник конвоя, увидев, что я без сознания и в параличе, отказался меня принять, боясь, что я умру в дороге. Я провел ночь в тюремной больнице, все время бормоча что-то, вскрикивая и делая странные движения левой непарализованной рукой, санитары говорили: "Вышивать начал". В одиночке я часто штопал рубашки, брюки и носки, и выработался автоматический жест продевания иголки. На следующий день меня перевезли в лагерную больницу, сделали первую пункцию - потек один гной - и поставили диагноз: гнойный менинго-энцефалит. Я уже замолк и не двигался, меня кололи и вливали антибиотики, зад мой потом походил на решето, и я долго не мог ни лежать на нем, ни сидеть. Когда делали вторую пункцию и начали вводить иглу в позвоночник, я неожиданно матерно выругался, и врач сказала: "Будет жить!" Впрочем, врачи считали, что если я чудом и выживу, то останусь полуидиотом, впоследствии они называли меня "человек, вернувшийся с того света". Без сознания я пробыл неделю, недели две еще не мог ходить, а правую ногу волочил несколько месяцев, но постепенно ко мне возвращались и твердая память, и, надеюсь, здравый ум. Первое время я страдал от бессонницы, были состояния не бреда, но полубреда: еще в палате смертников я слышал, как в соседней радио повторяет без конца: "Товарищ Сталин сказал... Товарищ Хрущев сказал..." Готовился XXIV съезд КПСС, допускаю еще, что могли упомянуть по радио Сталина, но уж никак не Хрущева, и еще вертелась у меня в голове песня: "Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой!" Третью пункцию сделали через полмесяца, и результат был хороший. Я понимал, что мог и могу умереть, но, видимо, в тяжелой болезни, когда человек приближается к роковой черте, появляется безразличие к смерти, я тогда думал о смерти совершенно спокойно. Между тем однажды, когда мне было двадцать шесть лет, внезапная мысль о том, что я когда-нибудь умру, не сейчас, но вообще умру и меня не будет, привела меня в такой ужас, что у меня похолодели руки, и я подошел к своей подруге и схватил ее руку своей холодной рукой, чтоб почувствовать прикосновение к чему-то живому. Что до мешка, мысль о котором связала меня с жизнью, то большую часть вещей, конечно, украли. Во время войны мой отец, тяжело раненный, лежал в госпитале, и генерал - снова генерал! - пожелал увидеть находящегося при смерти героя. "Какое будет ваше последнее желание?" - спросил он отца. Отцу, как назло, не приходило в голову никаких желаний, наконец, он вспомнил, что у него пропал чемодан. Чемодан тут же разыскали, и генерал любопытствовал, что же герой хочет получить перед смертью. Все было украдено, но отец мой был редактором полковой стенгазеты - и на дне остался портрет товарища Сталина. "Вот это настоящий герой! - вскричал генерал. - Хочет перед смертью взглянуть на любимого пожди. Наградить его посмертно орденом Красного Знамени!" Отец мой выжил, но вместо ордена получил справку, что он не получил ордена, так как орденов на складе не оказалось. В моем рюкзаке не нашлось, увы, портрета Брежнева, так что я даже справкой награжден не был, если не считать наградой, что воры пренебрегли моими теплыми подштанниками, в которые я без сознания помочился. После стирки я носил их до конца срока, согревая себя от колымских морозов. Первым, кого я увидел, когда очнулся, и у кого спросил про мешок, был санитар Иван Мельниченко, сидевший за дорожную аварию. Он ухаживал за мной, подавал судно, приносил компот, а я долго не мог есть, только пить,

дежурил возле меня, пока я был без сознания. Так же он ухаживал и за другими тяжелобольными - в нем было нечто от Платона Каратаева, безличность любви, которая сосредоточивалась вокруг тех, кому нужна помощь. Потом нам достался санитар по прозвищу Жлоб, здоровенный и малоподвижный мужик. - Гад, пропидер, утку дай, - стонет какой-нибудь лежачий больной. - Чтоб ты, гад, подох скорее, - отвечает ему санитар, - не наносишься уток на вас, дохляков. Большая палата произвела на меня впечатление бедлама, но постепенно я начал осваиваться, попробовал ходить, держась за спинки кровати, и, наконец, рискнул на поход в уборную. Это была не настоящая уборная, ставили в маленькой комнате ведро для тяжелобольных, которое затем выносили санитары, канализации не было, а выгребная яма с сооруженным над ней сарайчиком была во дворе, и идти туда зимой по снегу в мороз или весной в холод по грязи было не очень приятно больным, между ними и санитарями всегда был спор, достаточно ли они уже выздоровели или еще имеют право помочиться в ведро. Самой страшной оказалась баня - в больнице не было даже ванны, в другой конец лагеря я добирался через снежный буран, по рытвинам, ведомый другим больным, слепым, - вот они, "слепые поводыри слепых" - евангельскую эту фразу, употребленную Солженицыным, приписал прокурор на суде мне, - и в бане в пару и в чаду среди раздраженных эков пытался поднять шайку с водой - и не мог, шайка эта была едва ли не тяжелее, чем я сам в то время, во мне не было и 50 кг. В общем, и уборная, и баня были серьезным испытанием. Начал я понемногу читать, хотя первое время строчки сливались перед глазами. Когда вышел на улицу, возобновил зарядку, и туберкулезник из соседнего корпуса, увидев, как я на крыльце машу руками, заорал: "Эй ты, не пугай эков мускулатурой!" - а занятия боксом пришлось оставить. Кормили нас, по счастью, тут же в больнице, довольно скудно, но лучше, чем здоровых. Моим соседом был блатной лет сорока, не знаю, с каким уже по счету сроком, это был столь часто наблюдаемый мной потом сгусток тяжелой ненависти ко всему и ко всем, кто как-то устроен. "Вот у тебя жена есть, а меня жена бросила, это справедливо, да?" - сказал он мне однажды, и такая злоба промелькнула в его глазах ко мне, к моей жене за то, что она не бросила меня, и к его жене за то, что она его бросила. Койки через две на специально подложенных досках лежал молодой человек с больным позвоночником по кличке "Спина", настроенный ко всем, напротив, весьма благожелательно; сел он за грабеж: пошел с ножом на какого-то верзилу, и тот так оттолкнул его, что он упал в лужу и из-за больного позвоночника сам не мог вылезти, пока его не подобрала милиция. Много было блатных, вечно вымогавших что-нибудь, я дал апельсин одному, и он тут же стал говорить, что у него есть хороший друг, надо дать и ему, на что я ответил: он твой друг, вот и отдай ему апельсин; другой канючил шариковую ручку "на память", я ответил: ты меня и без того запомнишь. С двумя у меня была стычка: держась одной рукой за спинку кровати, чтобы не упасть от слабости, мы другой пару раз слабо ткнули друг друга в живот, при этом обещали "порезать" меня в будущем. Была у них привычка выпрашивать у других таблетки от разных болезней и потом проглатывать штук двадцать сразу: "ловить кайф". Однажды ночью привезли молодого блатного: он "задвинул фуфлю" - проиграл в карты, а платить было нечем, донес в оперчасть на своих партнеров, те отсидели в карцере, а затем при удобном случае влили ему асмабол в чай. Он в беспомощности испускал звериные стоны; когда же ему стали вводить в зад кончик клизмы, чтобы промыть внутренности, он диким голосом заорал: "Контролер! Контролер!" Ему, видимо, мерещилось, что его насилуют товарищи по карточной игре - лагерный способ расплачиваться с долгами чести. - Небось, друг твой, тебя зовет, - шутили эки со своих коек, обращаясь к дежурному контролеру, который с глупой улыбкой стоял тут же, наблюдая за операцией. Другие были настроены более мрачно: "Вот падла, теперь всю ночь спать не даст". "Матерьял для ваших будущих воспоминаний", - сказал, подходя, начальник отделения. Этот блатной пролежал еще несколько дней в нашей палате, придя в себя, но ни с кем не разговаривая; проходя мимо, я заметил в его взгляде ненависть не скажу звериную, потому что я пришел к сорока годам к мысли, что самый опасный зверь - это человек. Скоро его перенесли в ту комнату, где лежал я, - туда, "откуда нет возврата". Самое страшное

впечатление производили раковые больные. Один из них скелет, обтянутый сизой кожей, - начинал кричать, как только кончалось действие морфия. Он был при мне активирован, то есть освобожден от наказания в связи с тяжелой болезнью, активируют только безнадежных больных по принципу "Умри в любой дыре, но не у нас во дворе", для лучшей статистики смертей в системе МВД. Как сказал врач, жить ему оставалось меньше месяца. Другого больного всего полмесяца назад выписали как здорового, а он, хватаясь за кровати, когда его выволакивали контролеры, кричал: "Бляди, что вы делаете, у меня рак, я умираю от рака!" Вскоре он снова попал к нам, и аутопсия подтвердила, что у него рак. Он был в ссоре со всеми, блатные ненавидели его за то, что у него лежал в тумбочке кусок увядшего сала, которое он сам не мог есть, но никому не давал, а на меня он окрысился, когда я сказал, что он со временем выздоровеет: попытка умалить его болезнь привела его в ярость. Он был полковник авиации в отставке и сел на три года за "хулиганство": когда от него ушла жена, топором порубил нею мебель у себя в комнате. Кроме полковника, у нас был "сын полковника". За годы заключения, особенно на этапах, я повидал немало "сыновей" полковников, прокуроров, генералов, адмиралов, секретарей обкомов и других высокопоставленных лиц, а если уж какой-нибудь бродяга никак не мог выдать себя за "сына полковника", то говорил, что на воле сам был майором. Но Коля Устинов, судя по всем его замашкам, был не с "улицы". Из своих пятидесяти лет просидел он в общей сложности более половины, в основном за кражи, сохранив необычайную веселость духа. "Я иногда тосковал на воле по лагерю, - рассказывал он, хотелось снова в эту жизнь окунуться, побазарить на этом языке". Нет места пересказывать его многочисленные истории, половину которых он привирал, печальный недостаток, роднящий его с генералом Иволгиным, который рассказывал князю Мышкину, что похоронил свою ногу на Ваганьковском кладбище и поставил надгробие с надписью "Покойся, милый прах, до радостного утра" (*). Но его приговор по последнему делу я сам читал: пьяный, он забрел в Польшу, зашел в расположение советской воинской части, вытащил на кухне из котла все суповое мясо и съел его, распив бутылку водки с поваром, - получил он три года за "нелегальный переход границы". Каждый день один-два раза с ним случался эпилептический припадок, эпилептика провоцирует резкий крик, стук, выстрел, не говоря уже о том, что припадок одного сразу же вызывает припадок другого. В сталинские годы, чтобы не возиться с заключенными эпилептиками поодиночке, кто-то додумался собрать всех в один лагерь: Устинов до сих пор с ужасом вспоминает этот припадочный лагерь.

(* В действительности генерал Иволгин жаловался князю Мышкину, что это Лебедев рассказывал генералу про свою ногу в насмешку над его, генерала, достоверной историей, как он был пажом у Наполеона и посоветовал ему покинуть Москву. (Примечание для тех, кто не читал "Идиота" Достоевского.) *)

Однажды у него начались особенно сильные припадки, несколько человек наваливались на него, укладывали в кровать, отгороженную доской, - и так семь раз, пока он совершенно не обессилел. "Знаешь, из-за чего меня било, сказал он тихо, подсев на второй день ко мне, - из-за тебя. Меня с утра вызывали к оперу, был еще один из УВД и один в штатском из КГБ". Устинов сказал в палате, что знает меня две недели, но доверился бы мне скорее, чем многим, кого знает годами. А ему доверился КГБ и предложил эпилептику следить за паралитиком: вы-де хоть и просидели четверть века за разные небольшие проступки, человек наш, советский, а этот - опасный идеологический диверсант и несправедливо хочет отделаться тремя годами. Перед этим врач водил меня, еле держащегося на ногах, к лагерному оперу, толстомордому калмыку, чтобы тот прикинул, кого для меня вербовать. По вечерам происходили дискуссии. Обычно начиналось с того, нужно ли открывать окно, чтобы проветривать палату, - эту точку зрения отстаивал один я, или же свежий воздух губителен для здоровья - эту точку зрения поддерживало большинство. Иногда спор переходил в более теоретические плоскости, например: нужна ли наука? Точка зрения, что наука нужна, - ее придерживался опять же один я, - легко разбивалась доводами остальных, что простому человеку нет от науки никакой пользы, а

ученые - ловкие мошенники, околпачивающие народ и живущие припеваючи. - Но вот же медицина вам помогает, врачи лечат вас. - Куда там лечат - калечат. Любая бабка деревенская вылечит лучше профессора, да и денег меньше возьмет, за то этих бабок и поизводили, отвечал народ. Помню яростный спор двух бывших пленных, хорошо или плохо обращались с ними, когда они вернулись из немецкого плена. Опыт у них был одинаков, но один доказывал, что все было хорошо, а другой - что все было плохо. Конечно, даже из одного лагеря можно вынести разные впечатления. Есть люди, которые на воле рассказывают, что они в лагере жили, как теперь на воле не живут, а в лагере говорят, что здесь-то их жизнь прижала, а уж на воле они от жизни брали все. - Что все? Что все? - раздраженно спрашивает какой-нибудь скептик. - Ты что брал от жизни? - Ну как же, - возражает рассказчик, - возьмем, бывало, с ребятами ящик водки да так нажремся, что хоть ставь нас раком и еби! От водки, естественно, переходили к бабам. У кого не было жен, коротали больничное безделье за сочинением писем заочницам - с которыми не были знакомы, но достали где-то адреса. Поскольку привлекающая женщин мужская брутальность от письма исходить не могла, а фотографии были запрещены - да они скорее способны были отпугнуть заочниц, то главная ставка делалась на женскую жалость. Наиболее нетерпеливые уже со второго письма намекали, что в лагере жрать особенно нечего. Один попросил у моего эпилептического друга конверт с маркой, тот ответил, что не всякая заочница стоит пяти копеек. Каково же было посрамление Устинова, когда заочница обещала выслать посылку. Посылку ждали многие, недавние насмешники заранее набивались заочнику в друзья, строили проекты, что там будет: сахар, масло, сало, колбаса, тушенка, сигареты, фрукты. Наконец, посылка пришла и была дежурным контролером торжественно открыта на вахте: там оказалась печеная картошка! Осыпавший насмешками обманутых друзей, заочник от ярости разбросал ее по зоне, о чем сам впоследствии искренне жалел: домашней картошки с солью в лагере неплохо навернуть. К концу апреля я гулял немного, заглядывая в окна лагерных барачков, и ужас брал меня, что и мне предстоит два года жить так. - Ну что, погулял, увидел: ловить нечего, - встречал меня тяжелым взглядом мой сосед, сам он вставать не мог из-за больного сердца. - Эй, землячок, ты, что ли, Амальрик? К тебе жена приехала! - кричал мне туберкулезник через разделяющую наши зоны колючую проволоку, и бежал уже Устинов с сообщением: "Видели бабу, по всем признакам твою жену, стояла на косогоре и махала платком". Как только я смог писать, я послал Гюзель три письма, но не получил ответа, я думал, что письма не дошли из-за цензуры. Я заковылял на второй этаж к окну - но косогор был пуст, заспешил на вахту - никто ничего не знает. Наконец пришел парикмахер меня побрить и сообщил, что жена приехала. Но свидание, законом разрешенное, нам не дали под тем предлогом, что меня, больного, свидание с женой может слишком разволновать, и это отразится на моем здоровье. Как некую слабую компенсацию Гюзель разрешили передать законом запрещенную посылку, даже шоколад и икру, содрали только иностранные этикетки с продуктов из опасения, что они содержат зашифрованные указания иностранных разведок. Хотя я ходил, немного читал и даже писал, мое состояние было неважным, температура держалась повышенная. Я получил инвалидность второй группы, освобождающую меня от обязанности работать в лагере, и врач сказала, что о Колыме не может быть и речи, в начале мая меня выпишут в тюремную больницу, а оттуда - в один из ближайших лагерей. Она предупредила, что всю жизнь я буду страдать от головных болей. Уже после выхода из тюрьмы были дни, когда я не мог прочитать и написать ни строчки, от долгого чтения или пребывания на холоде мой затылок как бы сжимает тяжелая рука, прежняя работоспособность не восстановилась до сих пор - но головных болей у меня почти не бывает. Впрочем, это не значит, что их никогда не будет. Начальник терапевтического отделения Николай Буюкли и лечащий врач Зинаида Донцова относились ко мне хорошо и старались меня спасти. Через несколько лет мне рассказали с их слов, что они получали для меня лекарства из Кремлевской больницы, так как власти не хотели моей смерти в лагере. Шла и обработка врачей: Донцова, обычно приветливая, увидела, что я читаю статью о буддизме, и с поджатыми губами спросила: "Что это вас на

сионизм потянуло?" Еще до приезда Гюзель меня отвели к главному врачу; он спросил, доволен ли я тем, как меня лечат, и не хочу ли написать благодарность врачам. Я действительно испытывал к врачам благодарность, но, вместо естественного человеческого чувства эту благодарность выразить, я сразу же заподозрил, не кроется ли здесь ловушка, и ответил, что с удовольствием напишу, но перед самой отправкой. 29 апреля, без всякого осмотра врачей, за мной пришел контролер и сказал собираться. Когда, уже одетый в свой черный бушлат и с отощавшим мешком в руках, я стоял в коридоре, начальник терапевтического отделения увидел меня и удивленно спросил, куда я собрался. - По крайней мере недельку вам еще надо побыть у нас, - сказал он, пораженный больше меня, и пошел к главному врачу выяснять. Через полчаса он с виноватым видом сказал, что я выписан Донцовой, врагом буддизма и сионизма, накануне ее выезда в командировку. Конечно, начальник отделения мог ее решение отменить, но не они это решали, а кто-то в областном УВД или УКГБ, с кем они не посмели тягаться. Когда Буюкли заговорил об обещанной благодарности, я только с удивлением взглянул на него. Врачи не стали бы делать зла сами тем, кто от них зависел, но не могли противостоять злу, идущему от тех, от кого зависели они.